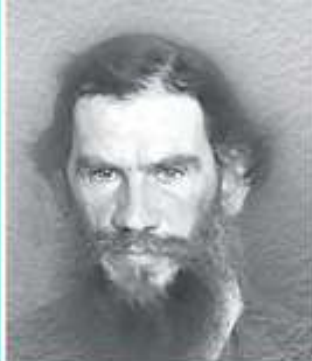




Л И Т Е Р А Т У Р А

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин



Часть 2

8



В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин

ЛИТЕРАТУРА

8 класс

Учебник

В двух частях

Часть 2

*Допущено Министерством просвещения
Российской Федерации*

12-е издание, переработанное

Москва
«Просвещение»
2023

УДК 373.167.1:821.09+821.09(075.3)

ББК 83.3(0)я721

К68

Учебник допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 858 от 21.09.2022 г.

На обложке — репродукция картины художника А. К. Саврасова
«Вид на Московский Кремль. Весна». 1873

Условные обозначения:

	Проверьте себя		Учимся читать выразительно
	Размышляем о прочитанном. Читаем самостоятельно. Опыт литературоведческого исследования		Проект
	Обогащаем свою речь		Фонохрестоматия
	Литература и другие виды искусства		Внеклассное чтение
			Творческое задание

Коровина, Вера Яновна.

К68 Литература : 8-й класс : учебник : в 2 частях / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 12-е изд., перераб. — Москва : Просвещение, 2023.

ISBN 978-5-09-102514-9.

Ч. 2. — 399 с. : ил.

ISBN 978-5-09-102516-3.

Учебник подготовлен в соответствии со всеми требованиями ФГОС ООО, утверждённого Приказом Министерства просвещения № 287 от 31.05.2021 г., и Примерной рабочей программой основного общего образования.

Учебник входит в учебно-методический комплект для 5—9 классов завершённой предметной линии под редакцией В. Я. Коровиной, призванной обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, определённых во ФГОС ООО по предмету «Литература», овладение системой универсальных учебных действий. Учебник способствует развитию творческих и коммуникативных способностей обучающихся.

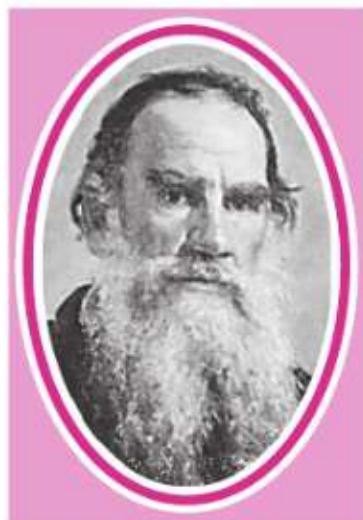
УДК 373.167.1:821.09+821.09(075.3)

ББК 83.3(0)я721

ISBN 978-5-09-102516-3 (ч. 2)
ISBN 978-5-09-102514-9

© АО «Издательство «Просвещение», 2014, 2023
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2014, 2023
Все права защищены

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (Продолжение)



**Лев Николаевич
ТОЛСТОЙ**

1828—1910

Лев Николаевич Толстой принадлежал к старинному дворянскому роду, который давно вошёл в историю России и много сделал для её блага. Сам Толстой прославил свой род не только как великий писатель, но и как гражданин на военном, общественном и педагогическом поприще. В круг его ближайших интересов всегда входила история. Среди художественных произведений Толстого, запечатлевших исторические события, выделяются «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Хаджи-Мурат».

Известно, что художественный историзм проявляется не только в исторических сочинениях, но и во всём творчестве писателя. Произведения, посвящённые современности, также могут быть историчными и неисторичными, то есть точно воспроизводящими реалии времени, в которое живёт писатель, или эти реалии искажающими. Художественным историческим документом, рассказывающим о героической обороне Севастополя в 1854—1855 годах, стали «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Цикл состоит из трёх произведений: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года».

Писатель был непосредственным участником боевых действий. Он прибыл в осаждённый город в ноябре 1854 года. Надо отметить, что отношение к обороне города и к войне в целом в «Севастопольских рассказах» меняется. Если в первом произведении «Севастополь в декабре месяце», которое представлено в вашем учебнике, Толстой больше пишет о героизме солдат и матросов, готовых отдать жизнь, защищая родину, то в последующих рассказах усиливается тема противоестественности войны, жестокости и бесчеловечности её сути. При этом не ослабевает патриотический пафос произведений, не ослабевает гуманистическое звучание голоса писателя. Писатель был в Севастополе до конца осады, участвуя в боевых действиях. За проявленное при этом мужество

артиллерийский офицер Л. Н. Толстой был награждён орденом Святой Анны с надписью «За храбрость», медалью «За защиту Севастополя».

Толстой очень остро чувствовал свою эпоху. Он сознавал, что живёт в момент исторического перелома, когда уходит в прошлое старая дворянская и крестьянская Русь, когда исчезают признаки патриархального строя, на котором покоится русский мир, русское общество и нравственные ценности, созданные на протяжении веков. Вместе с ним исчезает крепостная Россия, личная зависимость крестьянина от барина-помещика. Крестьянин становится свободным.

На смену патриархальным и крепостным отношениям приходят отношения зависимости людей от капитала, от денег, от земли, которая тоже превращается в товар. Люди одновременно и объединялись на больших производствах, на фабриках и заводах, в земельных хозяйствах, и отъединялись друг от друга: крестьянин уже не был прикреплён к помещику, не был для него «своим человеком» и сам не считал нужным быть обязанным бывшему господину. Если раньше дворянин-помещик и крестьянин составляли некое целое, хотя их отношения были, конечно, далеко не благополучными, то теперь, после реформы 1861 года, их единство окончательно распалось.

Однако писатель не оставляет попытки найти в жизни опору своим мечтам о соединении людей в общую семью. Он предлагает свой путь обретения национальной и всечеловеческой общности, в которой не было бы жестоких противоречий, смертельных схваток, господства личных корыстных интересов.

Толстой выдвигает в качестве основы человеческого общежития христианскую любовь, которую понимает как любовное отношение одного человека к другому независимо от расовых, национальных, религиозных различий. Для того чтобы такая любовь победила на земле, мало одного желания. Необходимо, чтобы люди воспитывали себя в духе такой любви и несли её свет другим. Толстой требовал от человека огромного духовного и душевного напряжения всех его способностей, воли и ума. Он ждал от человека желания самовоспитываться, самосовершенствоваться, чтобы изменить условия своего существования в духе высокой и всеобщей любви к ближним. Герои Толстого часто рассуждают и спорят со своими оппонентами на тему самовоспитания и изменения жизни в лучшую сторону.

Проверьте себя

1. Какие произведения, прочитанные вами ранее, рассказывали об исторических событиях, происходивших в России? Чем вам интересна литература об истории нашей страны?
2. Что нужно сделать, по мнению писателя, для того чтобы общество было более совершенным?
3. **Публичное выступление.** Используя материалы статьи учебника и биографического словаря «Русские писатели XIX века», подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве писателя.

Севастополь в декабре месяце

(Из цикла «Севастопольские рассказы»)

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; тёмно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждёт первого луча, чтобы заиграть весёлым блеском; с бухты несёт холодом и туманом; снега нет — всё чёрно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далёкий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьёт восьмая стклянка¹.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжёлая *маджара*² на верблюдах со скрипом протащи́лась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнообразных предметов — дрова, мясо, туры³, мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики⁴, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами, — причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, — предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полу-сгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча

¹ *Сткля́нка* (устар.) — удар судового колокола, обозначающий получасовой промежуток времени.

² *Маджа́ра* — большая телега.

³ *Ту́ры* — особого устройства плетёнки из прутьев, наполненные землёй.

⁴ *Ялик* — двухвёсельная или четырёхвёсельная лодка, шлюпка, обычно служащая для переправы через реку.

усердно работают вёслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на чёрные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона¹ и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат чёрные концы мачт, и на далёкий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые вёслами; вы слушаете равномерные звуки ударов вёсел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина² держите, — скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даёте лодке, — вправо руля.

— А на нём пушки-то ещё все, — заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нём Корнилов жил, — заметит старик, тоже взглядывая на корабль. — Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи нынче палит, — прибавит старик, равнодушно поплёвывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. — И ваш ялик быстрее подвигается вперёд по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжёлый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, чёрных матросов и пёстрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*³, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные

¹ Бон — заграждение в бухте из брёвен, цепей или канатов.

² Корабль «Константин». (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Сбитень горячий — напиток из мёда с пряностями.

пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зелёные орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, — везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное; странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймёте совсем другое. Посмотрите хоть на этого фушштатского солдатику¹, который ведёт поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет своё дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия, — так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы всё это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидającychся на крыльце бывшего Соборного, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить своё розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнёте себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о героизме защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков

¹ *Фушштатский солдат* — солдат из обозной части.

с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы¹, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, — вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство, — идите вперёд, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесёт их.

— В ногу, — отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. — Слава Богу теперь, — прибавляет он, — на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навёл пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

¹ *Бастионы* — пятистороннее оборонительное укрепление, состоящее из двух фасов (передние стороны), двух флангов (боковые стороны) и горжи (тыльная часть).

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Всё больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная чёрным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря всё это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая её, щиплет у себя на подушке корпию¹, и глаза её блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы её извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему своё сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, — и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твёрдостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться, — говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвёрнутый бинтами.

¹ *Корпия* — нащипанные из чистых тряпок нитки, которые употреблялись при перевязке вместо ваты.

Тяжёлый запах мёртвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Чтó, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идёт за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, ещё слышит, да уж очень плох, — прибавляет она шёпотом. — Я его нынче чаем поила — что ж, хоть и чужой, всё надо жалость иметь, — так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет бельё. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылучена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мёртвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щёку горячий румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, — скажет вам ваша путеводительница, — она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благотельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабан-

ным боем, с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем её выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнёте в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнёте сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдёте на бастионы... «Что значит смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворённой церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведёт ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведёт вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесённой на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдёте в самую оживлённую внутреннюю жизнь часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — всё говорит вам о твёрдости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвёртого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Чёрт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зелёном вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвёртом бастионе, — отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвёртом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками,

громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретёрским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но всё-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвёртом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», — скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», — скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот каналы! — прибавит он к трактирному слуге. — Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звёздочками на шинели, рассказывает другому, старому, с чёрным воротником и без звёздочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всём этом, и слишком всё страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго ещё будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвёртый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвёртом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвёртый бастион», — непременно заметны в нём маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвёртый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» — большей частью отвечают: «С четвёртого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нём не были и которые убеждены, что четвёртый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдёт на него, и тех, которые живут на нём, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвёртый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя ещё одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытанными всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребёнок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин — камней, досок, глины, брёвен; впереди себя на крутой горе видите какое-то чёрное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвёртый бастион... Здесь народу встречается ещё меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадают капли крови, и непременно встретите тут четырёх солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» — носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

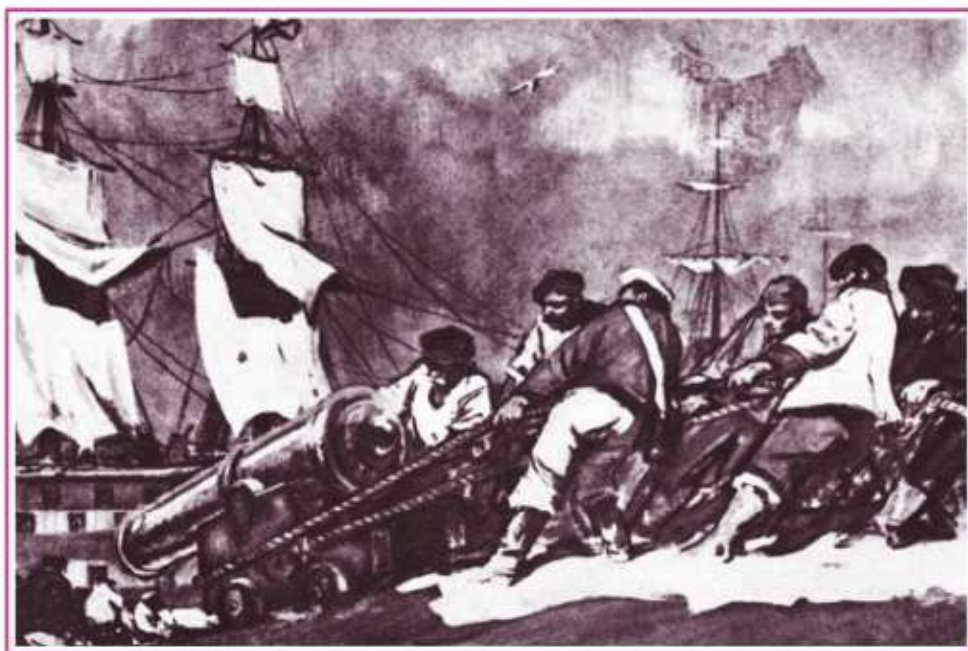
Недалёкий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймёте, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснёт в вашем воображении; собственная ваша личность начнёт занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, — вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные¹ пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведёт парал-

¹ *Штүцер (стүцер)* — первоначальное название парзеного ружья.

лельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, жёлтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окружённое со всех сторон турами, насыпями, погребями, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Всё это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьём переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и всё это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвёртый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это ещё не четвёртый бастион. Это Язоновский редут¹ — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвёртый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрёл пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя ещё шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землёй, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам своё хозяйство и всё, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свёртывает папиросу из жёлтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой,

¹ *Редут* — полевое укрепление, окружённое земляным валом.



«Севастополь в декабре месяце». «Орудие на бастион!»
Художник А. Кокорин

так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, — но только, ежели вы его расспросите, — про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как всё-таки на другое утро, шестого, он *палил*¹ из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати-сорока саженьях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — *он*, как говорят солдаты и матросы.

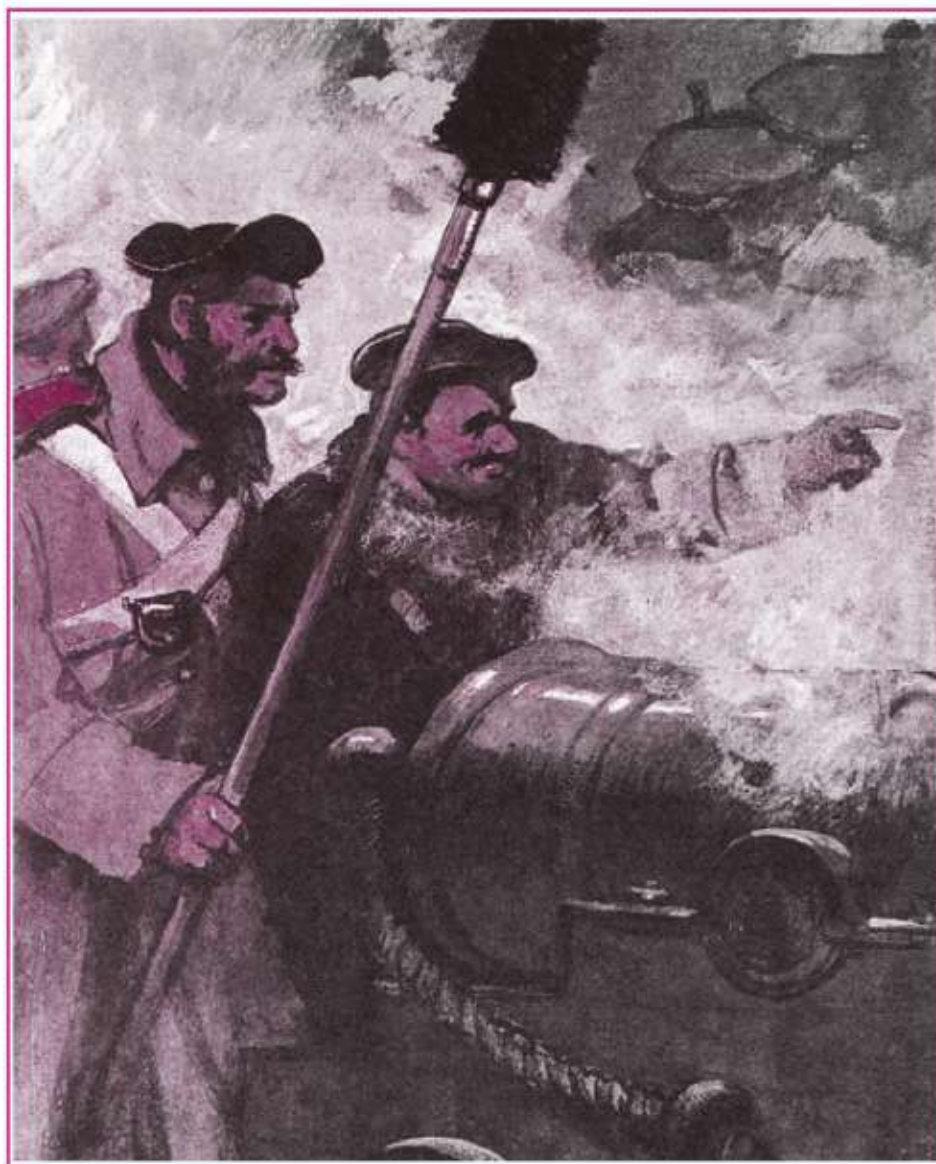
Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», — и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман

¹ Моряки все говорят *палить*, а не *стрелять*. (Прим. Л. Н. Толстого.)

трубку, кто дожёвывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят её. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твёрдом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили ещё следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но всё существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и чёрные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, — это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *абра-зуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли», — услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», — скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-ушка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлёпнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батареинный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»¹ — и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите чёрный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придёт в голову, что снаряд этот убьёт вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд про-

¹ Мортара. (Прим. Л. Н. Толстого.)



На четвёртом бастионе. *Художник А. Кокорин*

летел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы ещё и ещё часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», ещё посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевре-

менное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» — ещё хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только ещё раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему оружию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», — говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свёртывая папиросу из жёлтой бумаги...

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идёте назад, почему-то не обращая внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, — идёте с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов¹, брустверов², хитросплетённых траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели её в глазах, речах, приёмах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряжённо и усиленно, что, вы убеждены, они ещё могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная при-

¹ *Тра́верс* — земляная насыпь для закрытия внутренней части укрепления от поражения с флангов и с тыла.

² *Бру́ствер* — земляная насыпь впереди окопа или траншеи.

чина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нём не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и всё-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, — о временах, когда этот герой, достойный Древней Греции, — Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрём, ребята, а не отдадим Севастополя», — и наши русские, неспособные к фразёрству, отвечали: «Умрём! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймёте, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжёлые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечерет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля

Очерковая проза — небольшие по объёму, как правило, прозаические произведения с документально-свидетельской основой и небольшой долей вымысла, например некоторые рассказы в «Записках охотника» И. С. Тургенева, в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого.

Главные виды: записки, путевые и мемуарные очерки.



Размышляем о прочитанном

1. «Севастополь в декабре месяце» — очерк, написанный для журнала «Современник», который редактировал Н. А. Некрасов. Назовите признаки этого жанра в прочитанном произведении.
2. Каково первое впечатление рассказчика от осаждённого города, что «непременно самое неприятное» бросается в глаза?

3. Расскажите о защитниках Севастополя, с которыми рассказчик разговаривал в зале Собрания. Что поражает в их рассказах, поведении, отношении к себе и окружающим?
4. Перед посещением какого места рассказчик предупреждает, что вы «увидите ужасные, потрясающие душу зрелища»? Что это за «зрелища»?
5. Противоестественное, ненормальное состояние человеческой психики, когда смерть воспринимается как повседневная обыденность, порождается войной. Приведите примеры такого восприятия событий персонажами очерка.
6. Какое чувство, присущее защитникам Севастополя, было причиной убеждения, что невозможно взять Севастополь?



Творческое задание

«Надолго оставит в России великие следы эта эпопея, в которой героем был народ русский...» — так прозвучало одно из исторических предсказаний Толстого. Сбылось ли оно? Напишите сочинение-эссе на эту тему.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Проза русского зарубежья



**Иван Сергеевич
ШМЕЛЁВ**

1873—1950

Иван Сергеевич Шмелёв родился в Замоскворечье в 1873 году. Москвич, выходец из торгово-промышленной среды, Шмелёв великолепно знал этот город и любил его нежно, преданно, страстно... С детскими впечатлениями навсегда вошли в его память и мартовская капель, и Вербная неделя, и «стояние» в церкви, и путешествие по старой Москве. Самые поэтичные книги — «Родное», «Богомолье», «Лето Господне» — о Москве, Замоскворечье.

Родственница писателя рассказывала, что Шмелёв был среднего роста, худощавый, с большими серыми глазами, владеющими всем лицом, склонными к ласковой усмешке, но чаще серьёзными и грустными. Дед Шмелёва — государственный крестьянин, старовер¹. Кто-то из предков был борцом за веру. Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 году. Отец Шмелёва был подрядчиком — строил на Москве-реке мосты, купальни, паромы, бани, иллюминировал город в большие праздники... «Последним его делом, — вспоминал писатель, — был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину» в 1880 году.

¹ *Староверы* — исповедующие православие, но не принявшие церковные реформы, предпринятые патриархом Никоном в середине XVII века.

Семья, в которой воспитывался будущий писатель, отличалась патриархальностью, истовой религиозностью. Патриархальны и религиозны, как хозяева, были и слуги. Совсем иной дух царил, однако, в замоскворецком дворе, куда со всех концов России стекались рабочие-строители («Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки... Двор наш для меня явился первой школой жизни — самой важной и мудрой...»). Первый печатный опыт Шмелёва — зарисовка «из народной жизни» «У мельницы». Выход в литературу оказался для Шмелёва неудачным. Перерыв затянулся почти на десятилетие. 1910 год стал переломным в писательской биографии Шмелёва. Горькому, его поддержке и помощи обязан Шмелёв в завершении работы над повестью «Человек из ресторана». Главным новаторством писателя было то, что он сумел полностью перевоплотиться в своего героя, увидеть мир глазами официанта.

Февральскую революцию 1917 года писатель принял восторженно. Октябрь и другие события, приведшие к власти пролетариат, Шмелёв не принял. В 1922 году по приглашению И. Бунина Шмелёв выезжает в Берлин, затем — в Париж. На чужбине он говорил А. Куприну: «Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Всё — чужое. Души-то родной нет, а вежливости много...» До конца своих дней чувствовал Шмелёв саднящую боль от воспоминаний о России, её природе, её людях. В его последних книгах — крепчайший настой первородных русских слов, пейзажи-настроения, поражающие высокой лирикой.

В 2001 году прах Ивана Шмелёва, по его завещанию, был перевезён на дорогу ему родину — в Россию.

О. Михайлов

Проверьте себя

1. Где прошло детство И. С. Шмелёва, о чём вспоминал он впоследствии?
2. Читали ли вы другие рассказы И. С. Шмелёва? Чем они вам запомнились?
3. **Публичное выступление.** Используя статью О. Н. Михайлова, материалы сайта <http://gotourl.ru/12239>, а также другие ресурсы Интернета, подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве И. С. Шмелёва.

Прочитайте рассказ И. С. Шмелёва «Как я стал писателем». Обратите внимание на то, как воспринимаются героем рассказа окружающие его в детстве предметы.

Как я стал писателем

(С сокращениями)

Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло непредумышленно.

Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только — писателем «без печати». Помнится, нянька, бывало, говорила:

— И с чего ты такая балаболка? Мелет-мелет невесть чего... как только язык у тебя не устаёт, балаболка!..

Живы во мне донные картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком... Ветка живой берёзки, выросшей вдруг в кроватке у образа, зелёной такой, чудесной. Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус её, смешанный с вкусом крови от расцарапанной острым краем губки, чёрные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой... Боженька в уголке с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «деворадуйся»...

Я говорил с игрушками — живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли «лесом» — чем-то чудесно-страшным, в котором «волки». <...>

Но и «волки» и «лес» — чудесные. Они у меня — мои.

Я говорил с белыми звонкими досками — горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные «звери», пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли брёвна. На дворе были плотники и доски. Живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Всё казалось живым, моим. Живая была метла, — бегала по двору за пылью, мёрзла в снегу и даже плакала. И половая щётка была живая, похожая на кота на палке. Стояла в углу — «наказана». Я утешал её, гладил её волосики.

Всё казалось живым, всё мне рассказывало сказки, — о, какие чудесные! <...>

Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в первом классе гимназии «римский оратор», и кличка эта держалась долго. В балльниках¹ то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках».

¹ Балльник — дневник.

Это был, так сказать, «дописменный» век истории моего писательства. За ним вскоре пришёл и «письменный».

В третьем, кажется, классе я увлёкся романами Жюль Верна и написал — длинное и в стихах! — путешествие наших учителей на Луну, на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста Бегемота. «Поэма» моя имела большой успех, читали её даже и восьмиклассники, и она наконец попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево, — шестая моя гимназия! — благословляющего детей Спасителя — и высокий, сухой Баталин, с рыжими бакенбардами, трясёт над моей стриженной головой тонким костлявым пальцем с отточенным острым ногтем, и говорит сквозь зубы — ну прямо цедит! — ужасным, свистящим голосом, втягивая носом воздух, — как самый холодный англичанин:

— И ссто-с такое... и сс... таких лет, и сс... так неуважительно отзываеесса, сс... так пренебрежительно о сстарссых... о наставниках, об учителях... нашего посстенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка позволяеесс себе называть... Мартысской!.. По решению педагогического совета...

Гонорар за эту «поэму» я получил высокий — на шесть часов «на воскресенье», на первый раз.

Долго рассказывать о первых моих шагах. Расцвёл я пышно на сочинениях. С пятого класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя как-то приплёл... Надсона¹! Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъёма, которое охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф², «как в небе», и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Надсона:

Друг мой, брат мой... усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землёй...

Баталин вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом:

— Ссто-с такое?! Напрасно сситаете книзки, не включённые в усесскую библиотеку! У нас есть Пушкин, Лермонтов, Державин... но никакого вашего Надсона... нет! Сто такой и кто такой... На-дсон.

¹ *На́дсон Семён Яковлевич* (1862—1887) — русский поэт.

² *Савао́ф* — одно из имён Бога в иудейской и христианской традициях.

Вам дана тема о храме Христа Спасителя, по плану... а вы приводите ни к сселу ни к городу какого-то «страдающего брата»... какие-то вздорные стихи! Было бы на четвёрку, но я вам ставлю три с минусом. И зачем только тут какой-то «философ»... с «в» на конце! — «филосов-в Смальс»! Слово «философ» не умеете написать, пишете через «в», а в философию пускаетесь? И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит — свиное сало! И никакого отношения он, как и ваш Надсон, — он говорил, ударяя на первый слог, — ко храму Христа Спасителя не имели! Три с минусом! Ступайте и задумайтесь.

Я взял тетрадку и попробовал отстоять своё:

— Но это, Николай Иванович... тут лирическое отступление у меня, как у Гоголя, например.

Николай Иванович потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне всё похолодело. Все мы знали, что это — его улыбка: так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.

— Ах, во-от вы ка-ак... Гоголь!.. или, может быть, гоголь-мо-голь? — Вот как... — и опять страшно потянул носом. — Дайте сюда тетрадку...

Он перечеркнул три с минусом и нанёс сокрушительный удар — колом! Я получил кол и — оскорбление. С тех пор я возненавидел и Надсона и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний балл, и меня не допустили к экзаменам: я остался на второй год. Но всё это было к лучшему.

Я попал к другому словеснику, к незабвенному Фёдору Владимировичу Цветаеву. И получил у него свободу: пиши как хочешь!

И я записал ретиво, — «про природу». Писать классные сочинения на поэтические темы, например, — «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»... — было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин: не «Труд и любовь к ближнему, как основы нравственного совершенствования», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову „О пользе стекла“» и не «Чем отличаются союзы от наречий». Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Фёдор Владимирович любил «слово»: так, мимоходом будто, с лентой русской, возьмёт и прочтёт из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством.

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный, —

певуче читал Цветаев, и мне казалось, что — для себя.

Он ставил мне за «рассказы» пятёрки с тремя иногда крестами, — такие жирные! — и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрёк:

— Вот что, муж-чи-на... — а некоторые судари пишут «муш-чи-на», как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! — у тебя есть что-то... некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах... пом-ни!

С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощанье карточками. Хоронили его — я плакал. И до сего дня — он в сердце.

И вот — третий период, уже «печатный».

От «Утра в лесу» и «Осени по Пушкину» я перешёл незаметно к «собственному».

Случилось это, когда я кончил гимназию. Лето перед восьмым классом я провёл на глухой речушке, на рыбной ловле. Попал на омут, у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспоминалась. Так меня восхитило за-пустенье, обрывы, бездонный омут «с сомом», побитые грозой, расще-плённые вётлы, глухой старик — из «Князя Серебряного»¹ мельник!.. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувство-вал — что-то во мне забилося, заспешило, дышать мешало. Мелькнуло что-то неясное. И — прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и ученье было отложе-но. Что-то — не приходило. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом², Цезарем³, Верги-лием⁴, Овидием Назоном⁵... — что-то опять явилось! Не Овидий ли натолкнул меня? не его ли «Метаморфозы»⁶ — чудо!

Я увидел мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обры-вы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда... Помню, — я отшвырнул все книги, задохнулся... и написал — за вечер — большой рассказ.

¹ «Князь Серебряный» — исторический роман А. К. Толстого.

² Софо́кл (ок. 496—406 г. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург.

³ Це́зарь Га́й Ю́лий (102 г. или 100—44 гг. до н. э.) — римский диктатор, пол-ководец.

⁴ Верги́лий Марс По́блий (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт.

⁵ Ови́дий Назо́н (По́блий Ови́дий Назо́н) (43 г. до н. э. — ок. 18 г. н. э.) — римский поэт.

⁶ «Метаморфозы» — поэма Овидия, которая содержит 250 мифологических и фольк-лорных сказаний о превращении людей в животных, растения, созвездия и т. д.

Писал я «с маху». Правил и переписывал, — и правил. Переписывал отчётливо и крупно. Перечитал... — и почувствовал дрожь и радость. Заглавие? Оно явилось само, само очертилось в воздухе, зелёно-красное, как рябина — там. Дрожащей рукой я вывел:

У мельницы

Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь ещё помню я первые строчки первого моего рассказа:

«Шум воды становился всё отчётливей и громче: очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой, густой осинник, и его серые стволики стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалёку речку. С треском я пробирался чащей, спотыкался на остренькие пенёчки осинового сухостоя, получал неожиданные удары гибких веток...»

Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. Но что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал и «как это делается» — как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться: почему-то и стыдно было. Скажут ещё: «Э, пустяками занимаешься!» Газет я ещё не читал тогда, — «Московский листок» разве, но там было смешное только или про «Чуркина». Сказать по правде, я считал себя выше этого. «Нива» не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем: «Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были — славянские? вспоминал-вспоминал... — и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть «Русская мысль» в Москве. С неделю я колебался: вспомню про «Русское обозрение» — так и похолодею и обожгусь. Прочитаю «У мельницы» — ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую — искать «Русское обозрение». Не сказал никому ни слова.

Помню, прямо с уроков, с ранцем, в тяжёлом ватном пальто, сильно повыгоревшем и пузырившемся к полам, — я его всё донасивал, поджидая студенческого, чудесного! — приоткрыл огромную, под орех, дверь и сунул голову в щель, что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло. Сердце во мне упало: крякнуло будто строго?.. Швейцар медленно шёл ко мне.

— Пожалуйста... желают вас сами видеть.

Чудесный был швейцар, с усами, бравый! Я сорвался с диванчика и, как был, — в грязных, тяжёлых ботинках, с тяжёлым ранцем,

ремни которого волоклись со звоном, — всё вдруг отяжелело! — вступил в святилище.

Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом широкий, красивый, грузный и строгий — так показалось мне, — господин, профессор, с седеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор, приват-доцент Московского университета Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласково:

— Ага, принесли рассказ?.. А в каком вы классе? Кончаете... Ну, что же... поглядим. Многонько написали... — взвесил он на руке тетрадку. — Ну, зайдите месяца через два...

Я зашёл в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо «заглянуть месяца через два». Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило — не писанье. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять: «Месяца через два зайдите».

Уже в новом марте я получил неожиданно конверт — «Русское обозрение» — тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня «зайти переговорить». Уже юным студентом вошёл я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь.

— Поздравляю вас, ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Пишите мне.

Я не сказал ни слова, ушёл в тумане. И вскоре опять забыл. И совсем не думал, что стал писателем.

В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелёно-голубой... обложке — «Русское обозрение», июль. У меня тряслись руки, когда раскрывал её. Долго не находил, — всё прыгало. Вот оно: «У мельницы», — самое то, моё! Двадцать с чем-то страниц — и, кажется, ни одной поправки! ни пропуска! Радость? Не помню, нет... Как-то меня пришибло... поразило? Не верилось.

Счастлив я был — два дня. И — забыл. Новое приглашение редактора — «пожаловать». Я пошёл, не зная, зачем я нужен.

— Вы довольны? — спросил красивый профессор, предлагая кресло. — Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим опытам. А вот и ваш гонорар... Первый? Ну, очень рад.

Он вручил мне... во-семь-де-сят рублей! Это было великое богатство: за десять рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить ни слова.

— Вы любите Тургенева? Чувствуется, у вас несомненное влияние «Записок охотника», но это пройдёт. У вас и своё есть. Вы любите наш журнал?

Я что-то прошептал, смущённый. Я и не знал журнала: только «июль» и видел.

— Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева... что-нибудь читали?..

— Нет, не пришлось ещё, — проговорил я робко.

Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, — пожал плечами. Это его, кажется, смутило.

— Теперь... — посмотрел он грустно и ласково на меня, — вы обязаны его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник... — Он стал говорить-говорить... — не помню уже подробности — что-то о «красоте», о Греции... — Он великий мыслитель наш, русский необычайный! — восторженно заявил он мне. — Видите — этот стол?.. Это его стол! — И он благоговейно погладил стол, показавшийся мне чудесным. — О, какой светлый дар, какие песни пела его душа! — нежно сказал он в пальму. И вспомнилось мне недавнее:

Имел он песен дивный дар,
И голос, шуму вод подобный.

— И эта пальма — его!

Я посмотрел на пальму, и она показалась мне особенно чудесной.

— Искусство, — продолжал говорить редактор, — прежде всего — благоговение! Искусство... ис-кус! Искусство — молитвенная песнь. Основа его — религия. Это всегда, у всех. У нас — Христово слово! «И Бог бе слово». И я рад, что вы начинаете в его доме... в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творения. Не во всякой они библиотеке... Ну-с, молодой писатель, до сви-да-ния. Желаю вам...

Я пожал ему руку, и так мне хотелось целовать его, послушать о нём, неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня.

Я ушёл опьянённый новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим — случайным? — есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся.

Шёл я как оглушённый. Что-то меня томило. Прошёл Тверскую, вошёл в Александровский сад, присел. Я — писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ!.. Я обманул редактора, и за это мне дали день-

ги!.. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство — благоговение, молитва... А во мне ничего-то нет. Деньги, во-семь-десят рублей... за это!.. Долго сидел я так, в раздумье. И не с кем поговорить... У Каменного моста зашёл в часовню, о чём-то помолился. Так бывало перед экзаменом.

Дома я вынул деньги, пересчитал. Во-семьдесят рублей... Взглянул на свою фамилию под рассказом, — как будто и не моя! Было в ней что-то новое, совсем другое. И я — другой. Я впервые тогда почувствовал, что — другой. Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... — готовиться. Я — другой, другой.



Размышляем о прочитанном

1. Рассказ назван «Как я стал писателем». Как вы думаете, что это: воспоминания, дневниковые записи или обычный рассказ?
2. Что открывал главный герой в людях? Что ему нравилось в них? Какими виделись ему в детстве окружающие предметы?
3. Какой герой одного из рассказов А. Платонова так же воспринимал окружающий его мир и предметы? О каких чертах характера это свидетельствует?
4. Как пришло к герою Шмелёва умение писать? Чем заканчивается рассказ? Почему главный герой почувствовал, что он «другой»? Известны ли вам рассказы или повести о том, как человек становится писателем (например, у А. Чехова, И. Бунина, М. Горького)?
5. В какое историческое время происходит становление писателя? По каким приметам мы можем об этом догадаться?
6. Вспомните, какие произведения называются автобиографическими. Можно ли к ним отнести рассказ И. С. Шмелёва?



Развиваем дар слова

1. Пробовали ли вы сами создать оригинальный рассказ, очерк, басню, рецензию? Что вам в этом помогало?
2. Объясните слова и словосочетания, включите их в свою речь: *непредумышленно, доньне, оратор, благословляющий, пренебрежительно, возненавидел, нравственное совершенствование, проникнуться чувством, наставник, мыслитель, творение, благоговение, благодущие, смущённый.*



Творческое задание

Напишите сочинение-эссе на одну из тем: «Как я готовился к сочинению», «Как я написал своё первое сочинение», «Отзыв на рассказ И. Шмелёва „Как я стал писателем“».



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Как я стал писателем»

1. Что в рассказе И. С. Шмелёва вас особенно удивило?
2. Как способствовало этому чтение актёра? Какие интонации преобладали в его чтении (грустные, радостные, игровые, юмористические)?
3. Почему герой Шмелёва решил послать рассказ в журнал? Что он при этом думал? Как, с какими чувствами и интонациями об этом читает Алексей Колган?
4. Почему актёр особо торжественно произносит слова редактора?
5. Как И. С. Шмелёв решил готовить себя к писательскому труду (читать, писать, слушать...)?



Михаил Андреевич ОСОРГИН

1878—1942

Михаил Андреевич Ильин (Осоргин — псевдоним писателя) родился в Перми. Его воспоминания о детстве были светлыми, их он призывал в самые трудные минуты — они помогали жить. Навсегда остались с ним доброта близких людей и картины природы, целиком заполнявшие его мир в детские годы.

Мальчик рано полюбил книги, рано пришло время самостоятельных поисков.

Он был гимназистом 7 класса, когда газета «Пермские губернские ведомости» опубликовала его первую статью, а «Журнал для всех» — рассказ «Отец».

Осоргин был большим тружеником, оказавшись в эмиграции, он много печатался в берлинских, пражских, рижских, парижских журналах и газетах.

Писатель несколько раз просил Горького помочь ему напечататься в России: «...невыносимо обидно совсем не быть читаемым... на родине...» «Моё счастье не в том, чтобы я, чтобы мы увидели Россию возрождённой и свободной, — писал он, — а в том, чтобы таково было её будущее».

Время возвращения книг Михаила Андреевича Осоргина пришло.

О. Авдеева



Творческое задание

Публичное выступление. Используя ресурсы Интернета и материалы словаря «Русские писатели. XX век», подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве писателя.

Познакомьтесь с рассказом Осоргина «Пенсне». Подумайте, какими представляются писателю окружающие его предметы. Случались ли с вами подобные истории? Расскажите об этом.

Что вещи живут своей особой жизнью — кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, — но лицо у неё своё, забулдыжно-актёрское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и лёгкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, — и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан — носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница — почтовая марка.

Отрицать, что чайник, этот добродушный комик, — живое существо, может только совершенно нечуткий человек; именно чайник, так как кофейник, например, живёт жизнью менее индивидуальной и заметной.

Но особенно меня всегда занимала одна любопытная чёрточка в жизни вещей — не всех, а некоторых. Это — страсть к путешествиям. Таковы: коробка спичек, карандаш, мундштук, гребёнка, шейная запонка, ещё некоторые. Много лет внимательно и любовно изучая их жизнь, я сначала предположил, а впоследствии убедился, что эти вещи время от времени уходят гулять — на минуту, на час, иногда на очень долгий срок. Есть случаи исторические (семисвечник, голубой бриллиант, исторический труд Тита Ливия¹ и пр.), но в таких исчезновениях отчасти замешана человеческая воля, случай, злой умысел; на примере мелких вещей легче установить полнейшую самостоятельность поступков.

Обычно такие исчезновения мы объясняем то своей рассеянностью, то чужой неаккуратностью, а нередко и кражей. Раньше я и сам так думал, и, не приди мне в голову понаблюдать жизнь вещей без предвзятого представления об их пассивности и «неодушевлённости», — я бы и посейчас думал так элементарно.

Все читающие в постели знают, с какой настойчивостью «теряется» в складках одеяла карандаш, разрезной ножик, коробка спичек. Привычным жестом вы кладёте на одеяло карандаш. Через минуту — карандаша нет. Вы шарите, ищете, злитесь: нет и нет. Откидываете

¹ *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский историк, автор труда «Римская история от основания города».

простыни, смотрите под подушкой, на коврике, на столике: нет нигде. Ворча встаёте, лезете в туфли, заглядываете под постель, находите там спички, запонку, открытое письмо — но карандаша нет. Ёжась от холода, вы плетётесь к столу, берёте другой карандаш (обычно он оказывается неочинённым), чините его, возвращаетесь. Подоткнув под себя одеяло, чтобы согреться, вы наконец берёте книжку, отложенную потому, что нечем было отчеркнуть нужное место. Раскрываете книжку — карандаш в ней.

Ясно, что сам попасть он в неё не мог, — но не менее ясно, что вы его туда не положили, не могли положить.

Обычно мимо таких фактов проходят, не придавая им значения. Напрасно! Вглядывайтесь внимательнее, и вам откроется целый новый мир вещей, живущих параллельно той жизни, которую мы для них выдумали.

Я помню поразительный случай с моим пенсне: простое пенсне, без оправы — два стекла и лёгкая дужка.

Сидя в кресле у стены, я читал; на новой главе хотел протереть стёкла, вынул платок, и вдруг — пенсне исчезло. Опытный в этих делах, я обыскал не только все карманы, складки одежды, щели в кресле, маленький столик рядом, листы книжки — всё решительно. Пенсне не было нигде; не быть и раньше не могло, так как я очень дальновзорок и мелкой печати без стёкол не разбираю.

Не подумайте, что пенсне моё оказалось на носу; в таких случаях я прежде всего ощупываю переносицу; на ней были две свежие ямки — и ничего больше. Я отодвинул кресло, осмотрел на нём все кисточки и пуговики, о которых Козьма Прутков¹ сказал, что они выдуманы самым глупым на свете человеком, — и всё бесплодно.

Это было настолько чудовищно и нелепо, что я разделся, встряхнул одежду, сам подмёл паркет от стены до самой середины комнаты. Усомнившись в себе, я обыскал письменный стол в соседней комнате, заглянул на вешалку, стыдливо пробежал глазом по ванной — всё было напрасно.

Тогда я вспомнил, что ясно слышал звук падения пенсне; я ещё порадовался, что — судя по звуку — оно не разбилось. И вот я снова ползаю по полу, смотрю сбоку, смотрю снизу, смотрю сверху, топаю ногами — чтобы хоть раздавить его, проклятое, и наконец успокаиваюсь. Ни-ка-ких!

¹ *Козьма Прутков* — коллективный псевдоним, под которым выступали в 50—60-е годы XIX столетия А. К. Толстой и братья Жемчужниковы с сатирическими стихами и афоризмами.

Так и исчезло — как провалилось. Но в паркете не было ни единой щёлочки.

Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл и много раз о нём рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перешупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетёрла тряпочкой все предметы, вымела пылинки и даже вымыла чёрную лестницу (до следующего этажа). Вся квартира обновилась, посвежела — но пенсне не было.

Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметив расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провёл вечер накануне, — и целый день мыслил, пользуясь главным образом методом исключения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушёл. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы.

И вот сидел я однажды в том же кресле у той же стены, лишь с другой книжкой, по обыкновению отчёркивая карандашом наиболее умные и наиболее глупые места. На носу у меня было уже другое пенсне, новенькое, тугое, раздражающее. И вдруг — раз! — и падает карандаш. Перепуганный (не шутя! тут любопытнейшее психическое переживание!), я бросаюсь вдогонку. Мне почему-то представилось, что и карандаш должен бесследно исчезнуть. Но он лежал спокойно у стены, и... рядом с ним, смиреннько, плотно прижавшись стоймя к стене, блеснули два стекла с тоненькой дужкой.

Вы можете, конечно, смеяться и утверждать, что я слеп (это неправда! я дальнорезок, но вижу отлично), что слепы все мои знакомые, слепа прислуга, ежедневно подметавшая каждый вершок пола, что это просто курьёзный случай и прочее. Реалистически мыслящий человек имеет на всё готовый ответ. Но нужно было видеть физиономию моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это — не случай и не недоглядка.

Ещё поблёскивая мутными, запылёнными стёклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно — наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.

Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно, в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую странную привязанность вещей к чело-

веку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность?

На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне моё гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, — в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.

Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены ещё несколько часов, показал его прислуге, знакомым, от которых, впрочем, не услышал ничего, кроме плоских рационалистических рассуждений о том, как оно «странно упало». Действительно, странно! Почему-то с людьми этого никогда не случается!

Мой знакомый, знаток испанской литературы, несколько позже довёл до моего сведения, что в цепи его логических рассуждений была допущена ошибка: он искал пенсне, как предмет плоский (?!), лишь в двух измерениях, между тем как оказалось оно именно в третьем. По-моему, это — чепуха.

Между прочим, кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул; пенсне упало плашмя на пол и разбилось в мельчайшие осколки.

Пусть это будет случайностью — мне так легче думать. Я был бы глубоко огорчён, если бы были объективные данные считать этот «случай» самоубийством. И что могло побудить эту в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стёклышек?

Мне жаль бедняжку! Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на малейшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности.



Размышляем о прочитанном

1. Как вы думаете, почему М. Осоргин начинает рассказ с необычного вопроса? Каков этот вопрос? В чём никто не должен сомневаться? В чём хочет нас убедить рассказчик?
2. Кто же является героем этого рассказа? Как вы понимаете строки авторского текста: «...пенсне моё гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, — в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу»?

3. Кто из писателей XIX века использовал приёмы, которые есть в рассказе М. Осоргина? Приведите примеры.
4. Использует ли М. Осоргин в своём рассказе олицетворения и метафоры? Приведите примеры. С какой целью писатель использует эти художественные средства?



Развиваем дар слова

Будьте внимательны к слову и к тому, как автор говорит о «жизни» вещей: *часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках*. Какой приём используется автором, чтобы показать необычную «жизнь» вещей? Почему именно эти глаголы использованы в приведённых словосочетаниях?



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Пенсне»

1. Небольшой юмористический рассказ М. А. Осоргина повествует о простой забавной истории, которая может произойти с каждым человеком. Послушайте его.
2. Какие интонации мы слышим в чтении Сергея Сазонтьева — иронические, комические, повествовательные, сатирические?
3. Что в чтении актёра вам хотелось бы изменить? Почему?
4. Помогает ли музыка Э. Грига лучше понять рассказ?
5. Какой художественный приём мы используем, когда говорим: *пенсне моё гуляло, часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, письмо подмигивает, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках*? Как звучит этот приём в актёрском чтении?
6. Согласны ли вы с автором, размышляющим о «путешествии вещей»?
7. Как заканчивается рассказ? С какой интонацией финал был прочитан актёром?

Поэты русского зарубежья о родине

После Октябрьской революции образовалось две России — советская и эмигрантская... В истории было немало случаев, когда страны, в силу тех или иных установлений, разделялись — Восточная и Западная Германия, Северная и Южная Корея, Северный и Южный Вьетнам. Но люди тем не менее продолжали жить на своей исконной земле, и рано или поздно части разделённой страны воссоединялись, и время сравнительно быстро излечивало исторические и культурные рубцы. С Россией было иначе. Территория оставалась неделимой, зато её вынужденно покинула значительная часть образованных, просвещённых, культурных людей.

У русских писателей-эмигрантов было ясное понимание: без внутренних связей с русской культурой быстро наступит духовная смерть и полное растворение в чужой национальной среде.

Культура казалась той соломинкой, взявшись за которую можно было попытаться спасти и её, и себя.

Именно поэтому особое значение приобретают в эмиграции не только художественная литература, но и воспоминания, мемуары, рассказы и статьи об обычаях, обрядах, быте и вообще о прошлой жизни в России... Автобиографические сочинения пишут в эмиграции все или почти все, кто способен держать перо.

Иван Алексеевич БУНИН

1870—1953

Стихотворение И. А. Бунина «У птицы есть гнездо...» написано в 1922 году. Казалось бы, это стихотворение о прошлом. О том, как он ещё совсем молодым человеком покинул отчий дом, о чувствах, пережитых много лет назад:

Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора...

Но нет, сильнее чувства, переживаемые уже зрелым человеком («С своей уж ветхою котомкой...»), вынужденным входить «*в чужой*, наёмный дом» с пониманием того, что родной дом, родина утрачены навсегда.

* * *

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьётся сердце, горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом
С своей уж ветхою котомкой!



Размышляем о прочитанном

Как Бунин говорит о горечи ухода из родного дома? Обратите внимание на пульсирующий ритм бунинского стиха. Что он напоминает?



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«У птицы есть гнездо...»

1. Стихотворение И. А. Бунина «У птицы есть гнездо...» вы читали на уроке и знаете, что в нём автор размышляет над своей жизнью, над своей непростой судьбой. О чём он жалеет и горюет?
2. Как горькая судьба поэта передана в чтении актрисой Еленой Габец?
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворения в классе, подчеркнув чувство горечи от разлуки поэта с родиной.

Николай Авдеевич ОЦУП

1894—1958

На становление поэта Николая Оцупа большое влияние оказал Николай Гумилёв. После расстрела Гумилёва в 1921 году Оцуп уехал сначала в Берлин, затем в Париж. В Париже он выпускает литературный журнал «Числа», в котором начали свой творческий путь многие молодые литераторы из числа русских эмигрантов. В годы Второй мировой войны Оцуп добровольцем пошёл во французскую армию. Был в фашистском плену. Бежал, воевал в рядах итальянского Сопротивления. После войны преподавал русскую литературу, написал диссертацию о творчестве Николая Гумилёва.

Мне трудно без России...

(Отрывок)

Земля, и человек, и та или другая
Страна, особенно для сердца дорогая,
Чей радует обычай и язык,
Чьё имя связывать ты с жребием привык,
Тебе назначенным. Великая утрата —
Остаться без неё... А может быть, тогда-то

Такую (и такое) потеряв,
 Но ей чужим или врагом не став, —
 Тогда-то, может быть, и чувствуешь впервые
 Всю жизни глубину... Мне трудно без России...



Размышляем о прочитанном

«Мне трудно без России», — признаётся поэт. Но, может быть, не всем покинувшим Россию без неё трудно? Почему же так трудно лирическому герою Н. Оцуа? Что говорит он о своём отношении к родине?

Дон АМИНАДО

1888—1957

Настоящее имя поэта Дона Аминадо — Аминад Петрович Шполянский. Его юмористический талант оценили читатели ещё в дореволюционной России. Дон Аминадо был одним из активных авторов «Нового Сатирикона». В 1920 году поэт эмигрировал. Сотрудничал со многими эмигрантскими изданиями в Париже и Берлине. Совместно с А. Н. Толстым редактировал журнал для детей «Зелёная палочка». С 1931 года был редактором возобновлённого в Париже журнала «Сатирикон». И. А. Бунин писал, что Дон Аминадо «один из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение». Для многих далеко не смешных произведений поэта присуща острая, щемящая ностальгия — тоска по родине.

Бабье лето

Нет даже слова такого
 В толстых чужих словарях.
 Август. Ущерб. Увяданье.
 Милый, единственный прах.

Русское лето в России,
 Запахи пыльной травы.
 Небо какой-то старинной,
 Тёмной, густой синевы.

Утро. Пастушья жилейка¹.
 Поздний и горький волчец².
 Эх, если б узкоколейка³
 Шла из Парижа в Елец.



Размышляем о прочитанном

1. «Бабье лето» — чисто русское выражение, присущее только русскому языку. Поэт хочет сказать, что и то, что определяет это словосочетание, — именно русское явление. Что воспринимается как неповторимо родное в тех картинах, которые вспоминает лирический герой?
2. Как вы думаете, почему в первых двух строфах стихотворения употреблены только существительные и прилагательные, а единственный глагол появляется лишь в заключительной строфе?



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Бабье лето»

1. Какова главная мысль стихотворения «Бабье лето»?
2. Мы читаем назывные предложения:
 Август. Ущерб. Увядание.
 Русское лето в России...
 Запахи пыльной травы.
 Утро. Пастушья жилейка.

С какой целью поэт употребляет эти и другие назывные предложения? Какие привычные картины и настроения возникают в сознании читателей и слушателей, дополняя невысказанное поэтом?

3. О чём мечтает поэт? Как эта идея воплощена в стихотворении и в чтении Леонида Кулагина? Как «Вечерняя мелодия» поддерживает ностальгические чувства поэта?
4. Подготовьте выразительное чтение наизусть стихотворения «Бабье лето».



Учимся читать выразительно

Выберите и подготовьте к выразительному чтению наизусть одно или два стихотворения поэтов.

¹ Жилейка (жалейка) — дудка в виде маленькой свирели.

² Волчец — род колючей сорной травы.

³ Узкоколейка — железная дорога с узкой колёсой.

ПОЭЗИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. ЧЕЛОВЕК И ЭПОХА

Александр Александрович БЛОК

1880—1921

Александр Александрович Блок прошёл недолгий, но сложный творческий путь, заполненный большими историческими событиями и явлениями. На глазах у Блока происходили никогда не слыханные ранее исторические перемены. Старая и новая Россия, её прошлое, настоящее и будущее, история и современность — это вопросы, которые всю жизнь волновали Блока и на которые он искал ответ. Один из исследователей его творчества, В. Орлов, назвал его «самым историческим поэтом в литературе XX века, ибо всё, что он писал, исторично, проникнуто духом живой, каждодневно творимой истории».

Россия для Блока — это прежде всего родина, а родина для поэта — это «огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку, но бесконечно более уютное, ласковое».

Облик России, картины родной природы, изображённые в ранних произведениях поэта с налётом стилизации под традиционные поэтические образы, пришедшие из литературы Древней Руси и классической поэзии XIX века, становятся всё более искренними, лично, интимно переживаемыми.

Россия

О пять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слёзы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
 Не пропадёшь, не сгинешь ты,
 И лишь забота затуманит
 Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одной заботой боле —
 Одной слезой река шумней,
 А ты всё та же — лес, да поле,
 Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
 Дорога долгая легка,
 Когда блеснёт в дали дорожной
 Мгновенный взор из-под платка,
 Когда звенит тоской острожной
 Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Россия»

1. Литературоведы утверждают, что в творчестве А. А. Блока вырисовывается тема двух России — России официальной, чиновной, мещанской и России народной. Эта же тема проявлена в противопоставлении России современной и России древней, дохристианской. О какой России идёт речь в этом стихотворении?
2. Что преобладает в стихотворении — тревога, горестное чувство, любовь? Как Алине Покровской удаётся донести своим чтением эти чувства?
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворения А. А. Блока «Россия» наизусть.



Размышляем о прочитанном

1. Какие чувства овладевают поэтом при раздумье о России?
2. Какой представляется Блоку исконная историческая судьба России? О чём говорят вашему сердцу такие строки и слова:
«Мне избы серые твои, / Твои мне песни ветровые — / Как слёзы первые любви!»; «Не пропадёшь, не сгинешь ты, / И лишь забота затуманит / Твои прекрасные черты...»; «А ты всё та же — лес, да поле, / Да плат узорный до бровей...»; «И невозможное возможно, / ...Когда блеснёт в дали дорожной / Мгновенный взор из-под платка...».



Развиваем дар слова

Объясните слова и словосочетания, используйте их в своей разговорной речи: *чародей, разбойная краса, глухая песня, мгновенный взор, и невозможное возможно, прекрасные черты, дивное диво, забота, узорный плат, песни ветровые.*

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА

1892—1941

Известное утверждение о том, что если мир раскалывается надвое, то трещина проходит через сердце поэта, чрезвычайно точно определяет душевное, психологическое, эмоциональное состояние многих русских поэтов, переживших трагедию Гражданской войны. Для Марины Ивановны Цветаевой эти годы были невероятно тяжелы: бытовая неустроенность, а точнее сказать — бедственное, безденежное, полуголодное состояние, смерть младшей дочери Ирины, разлука с мужем Сергеем Эфроном, сражавшимся в белогвардейской Добровольческой армии.

Находясь вдали от реальных военных событий, переживая за судьбу любимого человека, Цветаева создаёт большой стихотворный цикл «Лебединый стан», в котором, понимая братоубийственный характер войны, всё же романтизирует, идеализирует сражающихся на стороне белых. О том, что это была романтизация издалека, поэтизация кровавого и не всегда вдохновлённого высокой идеей самоистребления, сказал несколько лет спустя её муж, бывший участник Белого движения Сергей Эфрон. Дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон вспоминает разговор, состоявшийся между родителями вскоре после приезда поэтессы за рубеж: «...И всё же это было совсем не так, Мариночка», — сказал отец с великой мукой всё в тех же огромных глазах, выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». — «Что же было?» — «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали...» (Эфрон А. С. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. — М., 1989. — С. 51).

* * *

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитаёт в поле — Русь.
Помогите — на ногах нетверда!
Затуманила меня кровь-руда!

И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
— Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева — и в чрево:
— Мама!

Все рядком лежат —
Не развестъ межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.
— Кто ты? — белый? — не пойму! — привстань!
Аль у красных пропадал? — Ря — азань.

И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
— Мама!
Без воли — без гнева —
Протяжно — упрямо —
До самого неба:
— Мама!

Декабрь 1920



Размышляем о прочитанном

1. Стихотворение-плач, стихотворение-причитание начинается с обращения «...грибочек, белый груздь». Как вы думаете, как это обращение соотносится с народной пословицей «Назвался груздем — полезай в кузов»?
2. Похоронные причитания — эмоциональный, скорбный, безответный монолог. Нарушается ли эта традиция в стихотворении Цветаевой?
3. Есть ли в этом стихотворении противопоставление белых и красных? Подкрепите свой ответ цитатами из текста произведения.

Дон

1

Белая гвардия, путь твой высок:
Чёрному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твоё дело:
Белое тело твоё — в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...

Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

11 марта 1918

2

Кто уцелел — умрёт, кто мёртв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом грянет,

Ответ как громом грянет: — На Дону!
Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

17 марта 1918

3

Волны и молодость — вне закона!
Тронулся Дон. — Погибаем. — Тонем.
Ветру веков доверяем снести
Внукам — лихую весть:

Да! Проломилась донская глыба!
Белая гвардия — да! — погибла.
Но покидая детей и жён,
Но уходя на Дон,

Белою стаяй летя на плаху,
Мы за одно умирали: хаты!
Перекрестясь на последний храм,
Белогвардейская рать — векам.

*Благовещение 1918
Москва*



Размышляем о прочитанном

1. Обратившись к ресурсам Интернета, выясните, почему, воспевая белый стан, Цветаева восклицает: «...Вандея — Дон». Почему Вандея стала символом Белого движения?
2. Приведите примеры идеализации участников Белого движения в стихах цикла «Дон».
3. Как вы думаете, почему при определении целей Белого движения Цветаева в один ряд ставит хаты и храм?

Михаил Аркадьевич СВЕТЛОВ

1903—1964

В большей степени читателям в нашей стране известны произведения поэтов, воспевавших Красную армию. Одним из них был Михаил Аркадьевич Светлов, автор популярных на протяжении многих десятилетий песен «Гренада» (1926) и «Песня о Каховке» (из кинофильма «Три товарища», 1935). Светлов сам был участником Гражданской войны. Семнадцатилетним юношей он ушёл воевать в рядах красноармейцев. И в «Гренаде» мы слышим романтизацию воспроизводимых событий. В стихотворении Светлова нет сцен кровавых схваток, жестокою реальностью военных буден заслоняет мечта юного героя о далёкой, неведомой, но наверняка такой прекрасной Гренаде, о которой он прочитал в книге:

Я хату покинул,
Пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать...

Романтический герой мечтает о подвигах во имя мировой революции, о которой так много говорили большевики. Прекрасная мечта, красивая песня. Но герой погибает, да и песня забывается:

Не надо, ребята,
О песне тужить...

Забыта песня, забыта идея, не замечена гибель бойца... Хотя и красивая, но очень грустная, почти скорбная песня.

Гренада

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит

Трава молодая —
Степной малахит.
Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть...
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Скажи мне, Украина,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
— Братишка! Гренаду
Я в книге нашёл.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времён...
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мёртвые губы
Шепнули: «Грена...»

Да. В дальнюю область,
В заоблачный плёс
Ушёл мой приятель
И песню унёс.
С тех пор не слышали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потери бойца

И «Яблочко»-песню
 Допел до конца.
 Лишь по небу тихо
 Сползла погода
 На бархат заката
 Слезинка дождя...

Новые песни
 Придумала жизнь...
 Не надо, ребята,
 О песне тужить,
 Не надо, не надо,
 Не надо, друзья...
 Гренада, Гренада,
 Гренада моя!

1926

Размышляем о прочитанном

1. Каким вам представляется герой стихотворения? Обратите внимание на то, что Гренаду он в книжке нашёл и для него очень важно, что это «красивое имя, высокая честь...».
2. Как романтические мечты о далёких прекрасных странах соединились в сознании героя с революционными идеями?
3. Как вы думаете, почему финал стихотворения скорее грустный, печальный, а не радостно-боевой, что было бы более характерно для советской поэзии о Гражданской войне? Повлияло ли на тональность стихотворения то обстоятельство, что «Гренада» написана через несколько лет после окончания войны?

Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ

1891—1938

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве, но детство и юность поэта прошли в Петербурге (Петрограде). Поэтому этот великий город он считал своим родным, «знакомым до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Лирический герой стихотворения «Ленинград» радостно узнаёт родной город, сам воздух которого живителен: «...так глотай же скорей / Рыбий жир ленинградских речных фонарей». Но уже в этой первой пейзажной зарисовке начинается звучать тревожная нота, которая затем усиливается. Вместо живых голосов друзей он может услышать «мертвецов голоса». Сопротивление уси-

ливающейся тревоге выражено в восклицании «Я ещё не хочу умирать!». Но реалии ленинградской жизни начала тридцатых годов лишь усиливают тревогу предчувствий, ожиданий.

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
До прожилок, до детских припухлых желёз.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дёгтю подмешан желток.

Петербург! Я ещё не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930



Размышляем о прочитанном

1. Уже в пейзажных образах, сопровождающих встречу с родным городом, лирический герой ощущает тревогу, его охватывают недобрые предчувствия. Какими художественными средствами выражается эта тревога?
2. О каких ожиданиях лирического героя свидетельствует фраза «в висок / Ударяет мне вырванный с мясом звонок»?



Творческое задание

Прослушайте песню «Ленинград» в исполнении А. Б. Пугачёвой. Согласны ли вы с интерпретацией стихотворения О. Э. Мандельштама известной певицей и композитором? Напишите отзыв на песню в исполнении А. Б. Пугачёвой.

Анна Андреевна Ахматова

1889—1966

В первые же дни Великой Отечественной войны на всю страну скорбно и мужественно зазвучал голос Анны Ахматовой. Зазвучал после долгого и почти полного безмолвия в 1930-е годы. Стихотворение «Мужество» — торжественная клятва сохранить «Великое русское слово» — многократно перепечатывалось, звучало по радио. В военных стихах Ахматовой нет батальных сцен. В них мысли, чувства, слова женщины, переживавшей великую трагедию в эвакуации. В трагическом и мужественном звучании ахматовских стихов есть и ноты материнского горя. Особенно явственно они слышны в стихотворениях «Постучись кулачком — я открою...» (1942) и «Памяти Вали» (1943). Названные стихотворения посвящены соседу Анны Ахматовой по Фонтанному дому в Ленинграде Вале Смирнову. Мальчик умер от голода в осаждённом городе. Стихотворения написаны в эвакуации, в Ташкенте:

Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда...

Смерть ребёнка — страшное горе. Но жизнь должна продолжаться, должна победить. И в стихотворении появляются образы весны, возрождения, продолжения жизни: «Принеси же мне ветку клёна / Или просто травинки зелёных...»

* * *

Постучись кулачком — я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда...
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клёна
Или просто травинки зелёных,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невиской студёной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

<23 апреля 1942>, Ташкент



Размышляем о прочитанном

1. Пятая строка в стихотворении первоначально звучала «И домой не вернусь никогда». Как вы думаете, почему Ахматова заменила строку?
2. Почему для стихотворения важно упоминание о «прошлой весне»?
3. Что означает обряд омовения чистой невиской водой? Почему необходимо смыть кровавые следы? Откуда они, ведь мальчик умер от голода? Может быть, речь идёт о следах тернового венца мученика? Подготовьте развёрнутый ответ-рассуждение на этот вопрос.



Борис Леонидович ПАСТЕРНАК

1890—1960

Произведения Пастернака — ткань, переливающаяся тысячью блёсток и оттенков мысли.

В. Асмус

Борис Леонидович Пастернак родился в Москве, в интеллигентной творческой семье, известной своими художественными наклонностями. Его отец, Леонид Осипович, был академиком живописи. Мать, Розалия Исидоровна, урождённая Кауфман, — профессором Одесского отделения Императорского русского музыкального общества. В их доме бывали Л. Н. Толстой, Н. Н. Ге, А. Н. Скрябин. С детских и юношеских лет Борис Пастернак полюбил природу («Дремучее царство растений, / Могучее царство зверей»), философию и музыку.

К природе он приобщился в летние месяцы, когда родители вывозили мальчика в Подмосковье.

Тогда же, в детские годы, он проникся христианскими чувствами и полюбил торжественную красоту богослужений и обрядов. Русская няня втайне от родителей водила мальчика в православную церковь. «Окропив его во имя Отца и Сына и Святого Духа, она уверила его, что нет препятствий к его участию в службе», — писал Е. Б. Пастернак, сын поэта. Христианство стало с тех пор духовной жаждой и источником творчества.

Перед Пастернаком-юношей открывались три дороги. Он мог стать музыкантом (композитором), философом или поэтом.

Музыка, которую Пастернак вскоре оставил как профессиональное занятие, несмотря на поощрения А. Н. Скрябина, продолжала быть для него предметом внимания, переживания и восхищения.

Увлечение философией началось в Московском университете, куда Пастернак после окончания гимназии с золотой медалью (1906) поступил на юридический факультет, а затем перешёл на историко-филологический. В апреле 1912 года Пастернак уехал в Марбург для знакомства с неокантианской фило-

софией¹. Там он делает успехи, но вскоре порывает с карьерой профессионального философа и возвращается в Россию. Однако ни музыка, ни философия не будут забыты. Они войдут в жизнь и в стихи так же, как природа и христианство, и займут в них подобающее им почётное место.

Сделав выбор в пользу Слова, Пастернак встал на поэтический путь.

Первые стихотворения появились в 1913 году, в пору окончания университета. На следующий год вышла книга стихотворений «Близнец в тучах», через три года — «Поверх барьеров» (1917). Спустя двенадцать лет поэт переработал эту книгу и выпустил новый сборник — «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (1929).

1913 год — закат символизма². Кризис его очевиден. Пастернак его остро чувствует и при всей любви к Блоку понимает, что настает время Маяковского. Вместе с Н. Асеевым и С. Бобровым он входит в поэтическую группу «Центрифуга», близкую футуристам.

После сборника «Поверх барьеров» он задумывает (1917) новую книгу стихотворений, которая вышла в свет в 1922 году и называлась «Сестра моя — жизнь». На следующий год появился сборник «Темы и вариации» (1923). В это время Пастернак сближается с Маяковским и входит в группу ЛЕФ (Левый фронт искусств).

Борис Леонидович Пастернак — один из тех редких поэтов, которые с детской радостью воспринимают и громко славят земной мир, жизнь на земле, сотворённый Богом порядок, упиваясь богатством красок и звуков.

В художественном плане в стихах ранних лет Пастернак чётко формулирует свои пристрастия и искания: он отказывается от романтизма и символизма и хочет, чтобы его жизнь предстала в стихах не жизнью поэта, а жизнью человека по имени Борис Леонидович Пастернак, своеобразной, без прикрас. Иначе говоря, он с самого начала ищет поэзию в прозе и сознательно прозаизирует стих, вводя в поэтическую речь слова и обороты, умеряющие гладкопись, неласковые для слуха, затрудняющие восприятие прихотливыми ассоциациями и нарочитым высоким косноязычием.

Позднее, вспоминая о том времени, когда вышла книга «Сестра моя — жизнь», Пастернак писал, что он жил с ощущением «повседневно-

¹ *Неокантианская философия* — течение философии, возрождающее идеи немецкого философа Иммануила Канта в новых исторических условиях конца XIX — начала XX века.

² *Символизм* — литературно-художественное направление конца XIX — начала XX века. Целью искусства символизм считает интуитивное, нерациональное постижение мира с помощью аналогий и соответствий, выступающих знаками, символами. Благодаря символу художник способен вырваться из повседневности в идеальный мир.

сти», когда все события уравнивались в своём значении и не было событий «поэтических» и «прозаических», «высоких» и «низких». Но каждое явление обыденности тотчас становилось историческим и вечным. Перед его глазами развёртывалась становящаяся история.

Человек и Вселенная мыслились в поэзии Пастернака самостоятельно, но не отъединённо. Они укладывались в некую естественную общность. Пастернак в отличие от художников, которые мечтали ради блага человечества переустроить данный свыше миропорядок, утверждал в своей поэзии его нерушимость, устойчивость и не видел надобности в насильственном преобразовании основ жизни.

Это убеждение, что в мироустройстве, в природе, в истории ничего не надо менять, что их законы сами всё сделают наилучшим образом, поэт пронёс через всю жизнь.

Стихотворения и поэмы 1920—1930-х годов свидетельствуют о том, что Пастернак пытался откликнуться на социальные изменения в стране, что ему хотелось душой быть рядом с теми, кто строил социализм. Однако новая действительность представлялась ему столь же косной, как и прежняя, в моральном отношении вызывала глубокие сомнения. В послании Борису Пильняку¹ он признавался:

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

В связи с этим поэт понимает, что отказ славословить новую власть чреват репрессиями². Всякая похвала автору со стороны власти оборачивается ожиданием похвалы властям со стороны поэта. В послании «Брюсову» он писал:

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Пастернака больше всего страшило выпячивание его личности, его творчества. По моральным причинам он опасался быть официальным поэтом, возведённым на некий пьедестал, и всячески этому противился. В его жизни и в поэзии моральные категории всегда преобладали над социальными. Свой творческий путь он мыслил как проникновение в существо и тайны бытия. Если

¹ Пильняк (настоящая фамилия — Вогау) Борис Андреевич (1894—1941) — русский писатель.

² Репрессия (от латинского *repressio* — подавление) — карательная мера, наказание.

раньше оно достигалось благодаря сложности и многообразию ассоциаций, то постепенно у Пастернака стало преобладать мнение, что сложность мира требует «неслыханной простоты» выражения, исключающей «словесный сор». Пробиваясь к такой простоте, он в 1932 году выпускает книгу стихов «Второе рождение». В ней видно стремление писать просто, ясно, прозрачно.

Одной из главных тем книги была любовь, соединённая с ощущением красоты и правды. В стихотворении «Любить иных — тяжёлый крест...» Пастернак ставит любовь в один ряд с красотой, с жизнью и её загадками («И прелести твоей секрет / Разгадке жизни равносильны»), с простотой и бескорыстием основ бытия. Любовь побуждает жить без фальши, благодаря ей духовные и душевные силы человека расцветают, и он становится лучше и нравственно чище.

В той же книге помещено и другое знаменитое стихотворение — «Красавица моя, вся статья...». В нём красота отзывается радостной, возвышающей музыкой души или поэтическим вдохновением, которое стремится выразиться рифмами. Наконец, она принимает совершенные скульптурные формы. В стихотворении ещё сохраняется перегруженность образными и иными ассоциациями, отступлениями о рифмах, задерживающими мысль, но вместе с тем ясно видно и стремление к простоте, к ясности стиля, которое ярко проявилось в первой и двух последних строфах:

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по́ сердцу,
Вся рвётся музыкою статья,
И вся на рифмы просится. <...>

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь.
И тянет петь и — нравится.

Тебе молился Поликлет¹.
Твои законы изданы.
Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.

Всё это вместе свидетельствует о том, что Пастернак — поэт нового столетия, с которым его роднит понимание сложности и трагичности бытия, стремле-

¹ *Поликлет* — древнегреческий скульптор; в его сочинении «Канон» выведен цифровой закон идеальных пропорциональных соотношений человеческого тела.

ние быть свободным, правдивым и честным до конца, во всяком слове и жесте, во всякой детали и подробности.

Великая Отечественная война вызвала в Пастернаке духовный и патриотический подъём. Он написал о войне несколько стихотворений, ездил на фронт в составе бригады писателей и вообще ощутил войну «живым периодом», почувствовал общность со всеми. Во время войны он написал книгу стихотворений «На ранних поездах» (1936—1944).

После войны писатель приступил к созданию романа «Доктор Живаго».

«В замысле у меня было дать прозу, в моём понимании реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентную, символистскую, но воплотить её не как зарисовки, а как драму или трагедию», — говорил Пастернак своим друзьям при чтении отдельных глав романа¹.

Своему новому произведению Пастернак придавал огромное значение и считал его важной вехой своего творческого пути:

«Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня в рамках моей собственной жизни — это сильный рывок вперёд — в плане мысли. В стилистическом же плане — это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя»².

Общий пафос «Доктора Живаго» он определил так:

«Это дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль, что общее между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна»³.

«Доктор Живаго» был предложен для напечатания в журнал «Новый мир», но отвергнут редакцией. В 1957 году он был издан за рубежом, и автору была присуждена Нобелевская премия по литературе. После этого в стране началась злобная травля писателя. От него потребовали выехать за границу. Пастернак не мог этого сделать, потому что не мыслил себя вне России. Он сделал уступку властям: отказался от Нобелевской премии.

Последняя написанная Пастернаком книга стихотворений — «Когда разгуляется...» (1956—1959) — вышла в Париже в 1959 году. В ней достигнута та «неслыханная простота» выражения, к которой всю жизнь стремился поэт. Примером могут служить два стихотворения — «Перемена» и «Весна в лесу».

¹ Записано Л. К. Чуковской. Цит. по: Пастернак Б. Материалы для биографии. — М., 1989. — С. 591.

² Там же.

³ Там же. — С. 587—588.

В первом из них отразилось отвращение Пастернака ко всякой помпезности, всяческой парадности, выпренности, «красивым» и ничего не значащим фразам. Он идёт к простым, бедным и нищим людям, потому что там

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

Ещё в 1938 году он писал родителям:

«Людей художественной складки всегда будет тянуть к бедным, к людям трудной и скромной участи, там всё теплее и выношеннее...»

Однако и здесь поэта неожиданно поджидала трагедия. Оказывается, человеческое горе вызывает отныне не сочувствие в морально испорченном обществе, а считается позором. Нравственные ценности изменились и рухнули. По отношению к беднякам, убогим или скромным людям можно судить о нравственном состоянии народа. Для Пастернака этические перемены стали равными моральной катастрофе:

Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.

И может быть, так сильно, так мощно зовёт его к себе природа, её красота, потому что она никогда не меняет своей простой, ясной и прекрасной сущности. С тёплым юмором и с лёгким дыханием встречает поэт весну в лесу, радуясь и таянью снегов, и петуху с курицей, и еловому мусору, и затопленным проталинам, и наступившей после зимы жаре. Он зорек и наблюдателен. Внимателен к подробностям природы и к её общему настроению. А это значит, что он бесконечно любит жизнь и хочет, чтобы её полюбили все.

В 1960 году Пастернака не стало.

Значение гениального поэта велико и непреходяще. Он вдохнул в русскую поэзию новые идеи, новый дух, он дал ей новые стилистические и стиховые формы, безмерно расширив и углубив возможности русского языка и стиха. Он подарил нам прекрасные образцы переводов Шекспира, Гёте, грузинских и иных поэтов.

В 1936 году А. А. Ахматова писала о Пастернаке, точно определив нерв его поэзии:

И вся земля была его наследьем,
А он её со всеми разделил.

Сам поэт в стихотворении «Нобелевская премия» сказал о себе в разгар обрушившихся на него клевет и ругательств:

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.



Творческое задание

Публичное выступление. Используя материалы учебника, словаря «Русские писатели. XX век», сайта <http://gotourl.ru/12243> и другие ресурсы Интернета, подготовьте сообщение о жизни и творчестве Б. Л. Пастернака.

* * *

Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы её закон,
Её начало,
И повторял её имён
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
 Всей дрожью жилок
 Цвели бы липы в них подряд,
 Гуськом, в затылок.

В стихи б я внёс дыханье роз,
 Дыханье мяты,
 Луга, осоку, сенокос,
 Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
 Живое чудо
 Фольварков, парков, роц, могил
 В свои этюды.

Достигнутого торжества
 Игра и мука —
 Натянута тетива
 Тугого лука.



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Во всём мне хочется дойти...»

1. Что вы можете сказать о характере лирического героя стихотворения Бориса Пастернака? Какие особенности этого характера помогают понять, прочувствовать чтение актёра и музыка Фредерика Шопена? Подготовьте развёрнутый устный ответ на этот вопрос.
2. Как вы думаете, почему в стихотворении так много рядов перечислений: глаголов активного действия (*думать, любить, свершать открытья...*), тем творчества (*о свойствах страсти, о беззаконьях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях влопыхах, локтях, ладонях...*), запахов и звуков поэзии (*В стихи б я внёс дыханье роз, / Дыханье мяты, / Луга, осоку, сенокос, / Грозы раскаты...*)?
3. С какими интонациями (восходящими или нисходящими) актёр читает все эти ряды перечислений? Что это даёт для понимания характера лирического героя?
4. Подготовьте выразительное чтение стихотворения, постарайтесь прочитать его так, будто ваше чтение сопровождается звучание «Революционного этюда» Ф. Шопена.

* * *

Красавица моя, вся стать,
 Вся суть твоя мне по сердцу,
 Вся рвётся музыкою стать,
 И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
 И правдой входит в наш мирок
 Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
 А гардеробный номерок,
 Талон на место у колонн
 В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
 Что тут с трудом выносятся,
 Перед которой хмурят бровь
 И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
 Но вход и пропуск за порог,
 Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
 Болезни тягость тяжкую,
 Боязнь огласки и греха
 За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
 Вся стать твоя, красавица,
 Спирает грудь и тянет в путь.
 И тянет петь и — нравится.

Тебе молился Поликлет.
 Твои законы изданы.
 Твои законы в далях лет.
 Ты мне знакома издавна.

Перемена

Я льнул когда-то к беднякам
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свести
С людьми из трудового звания,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча.
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже неверен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.

Весна в лесу

Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда,
Но и зато нечаянней.

С утра амуруется петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.

Хотя и парит и печёт,
Ещё недели целые
Дороги сковывает лёд
Корою почернелою.

В лесу еловый мусор, хлам,
И снегом всё завалено.
Водою с солнцем пополам
Затоплены проталины.

И небо в тучах как в пуху
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства.
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства.
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг.
Места и главы жизни целой
Отчёркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица.
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Быть знаменитым некрасиво...»

1. Как в актёрском чтении звучат слова поэта о назначении творчества, о жизни? Каков тон актёра, как бы разъясняющий мысль поэта (спокойный, утвердительный, убеждающий...)?
2. Сравните характеры лирических героев стихотворений Бориса Пастернака, созданные актёрами В. Бохоном («Во всём мне хочется дойти...») и Л. Кулагиным («Быть знаменитым некрасиво...»). В чём их различие? Какими средствами художественного чтения актёры создают различные характеры, настроения, эмоциональную окраску стихотворений?
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворения, учитывая опыт актёрской трактовки произведения.

В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака

В основе пастернаковского восприятия жизни лежала многосторонняя, все грани человека охватывающая и на редкость обострённая восприимчивость. Прежде всего — к нравственным впечатлениям. И наряду с ними — к их чувственным проводникам: краскам, звукам природы и музыкального искусства, к словам, их смыслу и данным в них воплощениям мысли и чувства.

В глазах Пастернака искусство — явление нравственной жизни.

Достигнув высшей художественной зрелости, Пастернак объявляет единственной задачей искусства правду.

Итак, на первом месте — высочайшая восприимчивость, отзывчивость на нравственные впечатления, а не превращение жизни в жизнь поэта. По убеждению Пастернака, подлинному искусству следует всегда «быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней».

Значение искусства как средства донесения до человека познанной и пережитой правды ещё больше усилило в Пастернаке интерес к явлениям искусства. Именно поэтому — как уже сказано — всё, что писал Пастернак, превращалось под его рукой в своеобразные опыты об искусстве: лирическое стихотворение, автобиография, прозаическая повесть, статья, роман.

Особенно интересны наблюдения Пастернака, относящиеся к связи поэтики Блока с переходами и колебаниями его мировоззрения. Не менее достойны внимания рассыпанные в разных произведениях суждения об Анне Ахматовой.

*По статье В. Ф. Асмуса в книге:
«Борис Пастернак. Об искусстве»*



Размышляем о прочитанном

1. Каковы взгляды Б. Л. Пастернака на историю?
2. Что писала А. А. Ахматова о поэзии Б. Л. Пастернака?
3. Что объявляет единственной задачей искусства Б. Пастернак, достигнув высшей художественной зрелости?



Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

1891—1940

В 1925 году Михаил Афанасьевич Булгаков пишет автобиографию для справочника:

«Родился в г. Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, еду в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнёс рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. <...>

В конце 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда».

В 1925 году появилась повесть «Собачье сердце», она не была тогда опубликована, но по рукам ходила её рукопись (на родине повесть была напечатана лишь в 1987 году).

Описанный в повести эксперимент с собакой Шариком из медицинского превращался совсем в иной. Первоначально Шарик, получив у профессора Преображенского ошейник, демонстрирует только свою рабскую натуру:

«Я барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злостных демократов».

Но при операции ему достались органы хама и уголовника Клима Чугункина. Одновременно Шарика, превращённого в человека Шарикова, начинает воспитывать председатель домового комитета Швондер. С этим собачье-уголовно-революционным «созданием» профессору сладить уже не удаётся. И тогда он вынужден вновь превратить Шарикова в собаку.

Финал, казалось бы, утешительный, но и по сей день в нашей печати не прекращается сатирическое разоблачение того, что получило название «шариковщина».

Тогда же, в 1925 году, власть почувствовала угрозу для себя от булгаковской сатиры, направленной против насилия, бескультурья, невежества и революционной демагогии.

Из воспоминаний Л. Е. Белозерской-Булгаковой:

«...В один непрекрасный вечер... постучали (звонка у нас не было)... На пороге стояли двое штатских... с обыском. Найдя на полке „Собачье сердце“ и дневниковые записи, „гости“ тотчас же уехали.

По настоянию Горького приблизительно через два года „Собачье сердце“ было возвращено автору».

«Собачьим сердцем» завершился цикл сатирических повестей и рассказов Булгакова. Пришло время его замечательных пьес и романов.

В том же 1925 году Михаил Афанасьевич Булгаков встретился с актёрами Художественного театра, задумавшими инсценировать роман «Белая гвардия» (он стал потом пьесой «Дни Турбиных»).

Вот как описывает Булгакова один из актёров:

«Он был безукоризненно вежлив, воспитан, остроумен, но с каким-то „ледком“ внутри. Вообще он показался несколько колючим... Особенное впечатление произвёл его пронизывающий, пытливый взгляд. В нём ощущалась сильная, своеобразная, сложная индивидуальность.

...Вскоре исчезла и некоторая настороженность и замкнутость Булгакова. Сползла и „маска“, которая, как оказалось, прикрывала его скромность и даже застенчивость. Взгляд его стал мягким и всё чаще поблёскивал. Улыбка становилась всё обаятельнее и милее... Всё чаще проявлялись его жизнелюбие и блестящий юмор... Суждения его были метки, наблюдательность поразительна, пронизывающая изумляющая».

Сохранился и «внутренний» портрет Булгакова, написанный его современниками:

«Бесстрашный всегда и во всём. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощённая совесть. Неподкупная честь».

М. Булгаков утверждал:

«Сатира создаётся тогда, когда появится писатель, который сочтёт несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит к художественному обличению её. Полагаю, что путь такого художника будет весьма и весьма труден».

Он был прав: в «Собачем сердце» Булгаков художественно обличил самодовольство, невежество, наглую нахрапистость и ощущение вседозволенности швондеров и шариковых, и жить писателю стало весьма трудно.

Вершиной творчества Булгакова является роман «Мастер и Маргарита», увидевший свет только после смерти автора.

Прочитайте повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце». Подумайте над её смыслом.

Собачье сердце

ЧУДОВИЩНАЯ ИСТОРИЯ

I

У-у-у-у — гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар в столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, Боже мой, — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожду Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — всё равно что калошу лизать... У-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поёт на лугу при луне — «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко

могу получить воспаление лёгких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадаетеся разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца... Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает; а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопаёт... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке... на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вон она, вон она... Бежит в подворотню... Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость...

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух... <...>

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше от-

сюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. «Шарик» она назвала его... Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула, и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской острой конечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ждёт? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое? Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не проглотил верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарик, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощёлкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью — как бы не потерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до

Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света невзвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа.

— Ф-р-р-р... гау! Вон! Не напасёшься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Фёдор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу, почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно, вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Фёдор Павлович?



«Собачье сердце». Художник А. Иткин

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Чёрт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиновым дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, а она почище извозничьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы, братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал Шарик с удивлением... «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а Бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, ещё более оттенив чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», — подумал пёс.

— Пожалуйста, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрнобурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, чёрт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пёс и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощёлкала пальцами, и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоём попали в узкий, тускло освещённый коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в тёмной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет, — мысленно завыл пёс, — извините, не дамся! Понимаю, о чёрт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пёс извернулся, спружинил и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причём вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искажённое женское лицо.

— Куда ты, чёрт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот окаянный!

«Где у них чёрная лестница?..» — соображал пёс. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки, вот так пёс!

Ещё шире распахнулась дверь, и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Давя битые стёкла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом,

причём пёс с увлечением тяпнул её повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. <...>

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперёк боков и живота. «Всё-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей, — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были подёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пёс. — Это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— Р-раздаются серенады, раздаётся стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у, — жалобно заскулил пёс.

— Ну, ладно, опомнися и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стёкла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отравка для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребёнок, тащишь в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравнивается с тобой...»

Мягкие drobные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла. <...>

Окончательно пёс очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивлённо подумал пёс. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаше.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам, — вновь начал чёрный с копной...

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил чёрный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже! Пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеётесь? — возмущился Швондер.

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишённый головного убора, — однако это здорово.

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приёмная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня —

6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвёртый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнёс ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала жёлтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где её принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пёс, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю ещё — каким способом, но

так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в неё так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас... Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Пётр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Пётр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооружённых револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть её.

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить всё, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Пётр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не могли бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное

положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищённо подумал пёс, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить — как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор, — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил её Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дёрнул её за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приёмную, молча — переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз¹!

III

...Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их, — хищно скомандовал Филипп Филиппович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый — он был уже без халата, в приличном чёрном костюме — передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Новоблагословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?

— Всё, что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения, — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, — ...мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...

¹ *Нама́з* — мусульманская молитва, сопровождающаяся установленными телодвижениями.

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.

— Ещё бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

— Вот чёрт...

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой портюре появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетри-

ны, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, — думал он, захлопывая отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость». <...>

Глухой, смягчённый потолками и коврами хорал донёсся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, — ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда — спрашивается. Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, Зина и унесла грудку тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович, — ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, — возразил красавец тяпнутый, — они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал пёс, — но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени, до марта 1917 года не было ни одного случая — подчёркиваю красным карандашом — ни одного!.. чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 17 года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз

социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши до сих пор нужно ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? <...>

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заёрзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за неё. — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «Бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошёл в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми жёлтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещённый резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пёс, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по видимому, денег куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! — «Угу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... — Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ни что не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай Бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Чёрт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил её рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тари-ра-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы всё же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патологоанатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживёт.

«Обо мне заботится, — подумал пёс, — очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы всё это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пёс во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнётся подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на неё, дважды в день серые гармоника под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась грудка обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак, пёс изучил звонок Филиппа Филипповича — два полновзвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чёрно-бурой лисе, сверкая миллионом снежных блёсток, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущённо говорила Зина, — а то он совершенно избалует. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на зад, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост её — цап! Я опомниться не успела, как он её всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причём пёс заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант, сторя от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мёртвого переулка — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Фёдор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил:

— Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Ещё бы — за шестерых лопают, — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — всё равно что портфель», — сострил мысленно пёс и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещён, — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с корзиной светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхла запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах... <...>

В этот ужасный день ещё утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел без всякого аппетита. Он скучно прошёлся в приёмную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днём, после того как Зина сводила его погу-

лять на бульвар, день пошёл обычно. Приёма сегодня не было, потому что, как известно, по вторникам приёма не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжёлые книги с пёстрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пёс услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично, — слышался его голос, — сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забежала, из кухни слышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пёс опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тупого некогда доктора Борменталья. Тот привёз с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстёгивая чемодан.

«Кто такой умер? — хмуро и недовольно подумал пёс и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу.

Прибежала Зина.

— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», — пёс обиженно нахмурился и стал шлёпаться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото», — решил пёс и вдруг получил сюрприз.

— Шарику ничего не давать, — загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутёмной ванной комнате, — просто глупо...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжёлом упадке. Всё было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары уже пришлось прикупить, и ещё одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать, — тосковал пёс, сопя носом, — привык. Я, барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять», — бешено, но бессильно подумал пёс. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нём стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пёс вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошёл у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно. — Бок зажил, ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх

белого, как епитрахиль¹, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в чёрных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький, четырёхугольный, на блестящей ноге.

Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол.

— Ошейник, Зина, — негромко молвил Филипп Филиппович, — только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на неё.

«Что же... вас трое. Возьмёте, если захотите. Только стыдно вам... Хотя бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пёс и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел ещё отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но ещё раз пёс успел вырваться. «Злодей... — мелькнуло в голове. — За что?» И ещё раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень весёлые загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — весёлым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пёс любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была ещё почувствована холодная, но приятная рука под животом! Потом — ничего.

¹ *Епитрахиль* — одно из облачений священника Русской православной церкви, надеваемое на шею, в виде передника с крестами, сшитого из двух широких лент, которые опускаются до земли.

IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пёс Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеёнчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнёт кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, — он помолчал, прищурил глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на чёрную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтёр её, затем оголённый живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Лёгкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородастая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облёкся в такие же чёрные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из неё брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал её края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоём начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и жёлтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защёлкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в неё комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— 14 минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иглой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приёмом навёл на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув её хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович ввёл ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до дёсен. Он ободрал оболочку с мозга и пошёл куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промышчал и врезался ещё глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулу, насосал из неё шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-жёлтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с жёлтой жидкостью и вытянул её в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы ещё спрашиваете? — злобно заревел профессор, — всё равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живёт, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живёт, не живёт, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Всё равно помрёт!.. Ах, ты чё... К берегам священным Нила... Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе... ей-богу!» — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распряленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.

— Ещё адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из неё облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Всё свежее бельё и ванну!

Он подбородком лёг на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, чёрт возьми. Не издох. Ну, всё равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

V

Из дневника доктора Борменталья

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чётко, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник.

История болезни.

Лабораторная собака приблизительно 2 лет от роду, самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топлёного молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг (*знак восклицат.*). Сердце, лёгкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся

в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удалён после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменён человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальна.

(Запись карандашом.)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдалённо напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счёт роста (удлинения) костей. Пёс по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком.

В 12 ч. 12 мин. дня пёс отчётливо пролаял А-б-ыр.

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. *(Перечёркнуто, поправлено.)* 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Отчётливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнёс 8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

Косыми буквами карандашом: профессор расшифровал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

В тетради вкладной лист.

Русская наука чуть не понесла тяжёлую утрату.

История болезни профессора Преображенского.

В 1 час 13 мин. — глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Тинктура валериана.

В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно называть) обругал проф. Преображенского по матери.

(Перерыв в записях.)

6 января. *(То карандашом, то фиолетовыми чернилами.)*

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнёс совершенно отчётливо слово «пивная». Работает фонограф. Чёрт знает что такое.

Я теряюсь.

Приём у профессора прекращён. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «ещё парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области поло-

вых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличивается значительно. Лоб скошен и низок.

Ей-богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович всё ещё чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (*Фонограф, фотографии.*)

По городу расплылись слухи.

Последствия неисчислимы. Сегодня днём весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас ещё под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка. «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чём не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к чёрту, марсианине? Ведь это — кошмар.

Ещё лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребёнок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это — что-то неопишное... Он говорит новое слово «милиционер».

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того как прогнал репортёров, один из них пролез на кухню и т. д. <...>

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый учёный, признал свою ошибку — перемена гипотеза даёт не омоложение, а полное очеловечение (*подчёркнуто три раза*). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (*зачёркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое, отчётливо произнесённое слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, чёрт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворён в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему бельё, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замёрзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остаётся в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками... Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идёт на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнёс длинную весёлую фразу: «Дай папиросочку — у тебя брюки в поло-сочку».

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селёдку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесённые существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол» — неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и сказал:

— Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это время Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздражённо, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (*Клякса.*)

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Ещё моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречающих псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал (*3 восклицательных знака*). Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерыве зрительных нервов собаки.

Что в Москве творится — уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана, земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приёмной с Шариком. Смотровая превращена в приёмную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловеющий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(В тетрадях вкладной лист.)

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен! Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал», у Преображенской заставы).

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чём дело. Бурчал что-то насчёт того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чём дело — не понимаю. Не всё ли равно, чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился.

- а) совершенный человек по строению тела;
- б) вес около 3-х пудов;
- в) рост маленький;
- г) голова маленькая;
- д) начал курить;
- е) ест человеческую пищу;
- ж) одевается самостоятельно;
- з) гладко ведёт разговор.

Вот так гипофиз (*клякса*).

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского

Доктор Борменталь.

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприёмное время. На притолоке у двери в приёмную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

«Семечки есть в квартире запрещая.

Ф. Преображенский».

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукою Борменталья:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».

Затем рукою Зины:

«Когда вернётесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушёл. Фёдор говорил, что со Швондером».

Рукою Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукою Дарьи Петровны (*печатно*):

«Зина ушла в магазин, сказала, приведёт».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шёлковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам, — зеркальные стёкла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развёрнутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо,

и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорождённый (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоучёная буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р».

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штилеты с белыми гетрами.

«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них ещё что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне — тем более днём?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстук.

Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он, — шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки, а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это всё Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте её подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пёс его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

— Да что вы всё... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даёте?! И насчёт «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущённо лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завёл глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мёрзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы всё попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздражённо воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», — подумалось ему.

— Уж конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет своё право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжёванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурки в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович, — и я не понимаю — откуда вы их берёте?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек, — видно, блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей лёгкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошёл и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело ещё вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передёрнуло.

— Хм... Чёрт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и то-скливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чём тут домком?

— Как это при чём? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шлаться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шлаться»?! Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо всё-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?
 — Да уж известно — не нэпман.
 — Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве? Это — раз. А самое главное — учётная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно всё-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы... э... гм... вы ведь, так сказать, — неожиданно явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил всё менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить всё по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьёзно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Ещё немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твёрдостью произнёс:

— Извините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарём, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Чёрт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарём, а человек покачал укоризненно головой.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоумённо шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом.

— Гм... вот чёрт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да...», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздражённо прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю...» Чёрт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путём операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Чёрт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывание в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.

— На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжело раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперёк лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо-с, не важно пока, — ответил удивлённый Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен её купить.

Жёлтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шарилов, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушённый женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнула и мгновенно пролетела обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шарилов.

— Боже мой, ещё что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в неё, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приёмной!

— В ванной, в ванной проклятый чёрт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налёг на дверь и стал её рвать. Распаренная Дарья Петровна с искажённым лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трёх ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на чёрную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтёрла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересёк кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович ещё более побледнел, к старухе подошёл вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила обидевшись:

— Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул чёрной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас!

— Филипп Филиппович, — в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнажённые руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть всё бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошёл доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого чёрта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович ещё раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защёлкнулся я.



«Собачье сердце». Художник А. Иткин

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаанный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защёлкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите её книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свёрнутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Фёдор с зажжённой венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рёв воды.

Послышался голос Фёдора:

— Филипп Филиппович, всё равно надо открывать, пусть разойдётся, отсосём из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нём она разделилась на три потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлёпая и прыгая, Зина захлопнула в неё дверь. По щиколотку в воде вышел Фёдор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеёнке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Бойтся выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Фёдор.

— Бить будете, папаша, — донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами,

шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные вёдра и раковину. Зброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролёт лестницы и падала в подвал. <...>

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Всё равно уже ноги мокрые.

— Ах, Боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты, — позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы всё это учинили и ещё позволяете... Да нет! Это чёрт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени ещё вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда чёрный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись баннным налётом и звонки прекратились, Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Фёдор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Фёдор помялся, потом сказал: — Тут ещё, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Чёрт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлёк три блестящих полтинника и вручил Фёдору.

— Ещё за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, уж это действительно, — многозначительно заметил Фёдор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приёмную, и оттуда донёсся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так... — добавил решительно Фёдор, — вот это так... Да по уху бы ещё!..

— Ну, что вы, Фёдор, — печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

<...>

— **П**озвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.



«Собачье сердце». Художник А. Иткин

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. «Всех, кто скажет, что другая...» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчёт семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съёжился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— 39-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трёх мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рывкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали приём. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвёт краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стоите... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казённая морда!

— Потому что вы её за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стоите...

— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить... а в то же время вы наглотались зубного порошку...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, — кстати, почему вы стёрли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушённый нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приёмной... Она в приёмной?

— В приёмной, — покорно ответил Шариков, — зелёная, как купорос.

— Зелёная книжка...

— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казённая, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чёртом... В печку её!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду её есть, — сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради Бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юссемс и человек мёртвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было всё ясно.

— У Никитиных... У Никитиных... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своём кабинете. Он зажёл лампу под тяжёлым зелёным колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зелёным огнём. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его учёный с зализанной лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошёл к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать её на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлечённый из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоучёный человек её и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав её конец, и наконец, в полном одиночестве, зелёно окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь. <...>

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталья.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович, — по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович, — ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я, или вы уйдёте отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень чётко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги: зелёную, жёлтую и белую — и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определённо в квартире № 5 у ответственного съёмщика Преображенского в 16 квадратных аршин, — Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу как новое, — благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь неё неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, *vorsichtig*¹... — предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!.. — вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите себе ещё одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моём доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зелёном полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своём лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Учёные, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа

¹ Осторожно (нем.).

Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестные личности, шумевшие на парадной лестнице и изъявившие желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Фёдор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Фёдор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотую вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра XXV.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчёт того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Фёдор, удаляясь спать с рублём в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отпёрся и при этом выговорил что-то неясственное насчёт того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстёгнутую кофточку ладонью, — да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы всё это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у неё на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости Господи, — начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде «э-э-э!». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.
<...>

— Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осёл Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где — здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! «От Севильи до Гренады...» Чёрт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то.

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рывкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только несчастная собака не помрёт у меня под ножом, а вы видели — какого

сорта эта операция. Одним словом, я — Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Моё открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? — Клим, Клим, — крикнул профессор, — Клим Чугункин (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, «всё поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады...» — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об енгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложение нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произведу их? Ведь я же всё-таки учёный.

— Вы великий учёный, вот что! — молвил Борменталь...

— Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной — тупая безнадёжность, я, клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнёс, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Чёрт с ним, что папа судебный

следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его ещё обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Ещё бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради Бога, не клевете на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трёх недель. Уверяю вас. Ещё какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы, на самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он всё-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повёл плечами, твёрдо молвил:

— Кончено. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка... Мне шаги слышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно поражённый Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещённом четырёхугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые чёрным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, всё ещё пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитёра Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради Бога, — опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришёл в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождём до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приёмную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвёл руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

IX

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришёл в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. «От Севильи до Гренады», Боже мой.

— Он в домкоме ещё может быть, — беспокоился Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Фёдор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернётся. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками.

Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным достоинством, в полном молчании

снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жёсткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напоминали два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну, хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно поражённый Шариков, вдруг набрал воздуха, дёрнулся и попытался

крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

—...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф. Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждёт?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привёз.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне ещё? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми кошками?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток.

Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приёмной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потёртом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталь надо будет выселить из приёмной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побавровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они вошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжёт, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие... Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... «От Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы ещё так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают займы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввёл Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович, — погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как её фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговаривал Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донёсся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво

добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил его осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост...

Пациент полез в портфель и вынул бумагу.

— Хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду: «...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверение. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — и тут он стал надуваться, как индийский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задёргал...

— Я думаю, — совершенно отошёл пациент, — но какая всё-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивлённый Шариков пришёл и с неясным страхом заглянул

в дуло на лице Борменталья, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле! Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задумчиво шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный, с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падушей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распротёртый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приёма по случаю болезни профессора — нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь своё лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придёт, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины, и сейчас же стали бледными.

Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, её до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зелёное и всё, ну, всё... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И ещё, что... впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врёт...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

КОНЕЦ ПОВЕСТИ

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в чёрном пальто, с портфелем, злобный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Фёдор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущённо отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил: — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился

на усы Филиппа Филипповича и dokonчил: — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щёку и стал вычитывать по бумажке из портфеля:

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздёргивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович, — это ещё не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивлённо заговорил чёрный человечек и поднял брови, — тогда его придётся предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволи́те предъявить Шарика следовательно, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нём отрастала шерсть. Вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе. Кошмарного вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал чёрный и обратился к первому милиционеру: — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Фёдора, — только, сволочь, опять оброс.



«Собачье сердце». Художник А. Иткин

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас ещё говорит, но только всё меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился чёрный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться! — вдруг гаркнул пёс с кресла и встал.

Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчётливей всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича:

— Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталья:

— Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера:

— Прошу занести эти слова в протокол.

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с её одинокой звездой. Высшее существо, важный пёсий благодетель сидел в кресле, а пёс Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пёс по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. <...>

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— «К берегам священным Нила...»

Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, всё чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

— «К берегам священным Нила...»

*Январь — март 1925 г.
Москва*



Размышляем о прочитанном

1. В чём смысл названия повести «Собачье сердце»?
2. Как объяснить, что Шариков выбирает имя и отчество для себя — Полиграф Полиграфович? Что предлагает Швондер прочитать Шарикову в процессе его воспитания?
3. Какие проблемы, поставленные М. А. Булгаковым в повести, кажутся вам фантастическими, а какие — вполне реальными?
4. Какие средства использует писатель для сатирического разоблачения примитивности, умственной ограниченности теоретиков и практиков «казарменного рая» Швондера и Шарикова? Приведите примеры наиболее ярких характеристик героев, созданных средствами диалога, гротеска, иронии, юмора.
5. Почему часть повествования ведётся от имени Шарика, часть — от лица Борменталья, а завершается повесть от имени автора?
6. **Дискуссия.** Кто прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или профессор Преображенский, утверждающий, что у Шарикова «именно человеческое сердце»?



Творческое задание

К чему пришёл профессор в результате своего эксперимента? Совпадает ли позиция профессора с мнением автора? В чём причина живучести «шариковщины» как общественного и нравственного явления в наше время? Подготовьте ответ на этот вопрос в форме сочинения-рассуждения.

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА



**Александр Трифонович
ТВАРДОВСКИЙ**

1910—1971

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах его истории — основное содержание творчества Твардовского. Поэт всюду идёт по горячим следам современности. В его «простых и грешных» героях проступают черты характера народа: простота и трудолюбие, общительность и гуманность, острый ум и меткая речь, неафишируемая готовность к подвигу, духовное здоровье... Всё это внушает поэту и читателям прочную веру в свой народ, составляет основу того исторического оптимизма, которым просветлена поэзия Твардовского.

Из всех произведений поэта именно «Василий Тёркин» полнее всего воплощает в себе эти черты...

Большие эпические произведения Твардовского («Страна Муравия», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Тёркин на том свете») имеют между собой много общего. Их отличает острота и точность наблюдений, народный юмор, лиризм.

Стих — простой, лёгкий — создаёт впечатление необыкновенной и, можно сказать, вовсе не стихотворной естественности выразительной разговорной речи.

События эпохального значения показываются в рамках наблюдения и опыта крестьянина-единоличника Никиты Моргунка («Страна Муравия»), боевых действий и быта воинского подразделения, где служит Тёркин. Послевоенная поэма «За далью — даль» рассказывает о значительных событиях и процессах народной жизни, наблюдаемых поэтом в его путешествиях по стране. Поэма «Василий Тёркин» посвящена Великой Отечественной войне.

Помимо Тёркина, поэма Твардовского «населена» множеством эпизодических лиц: офицеры, солдаты, деревенские дед и баба и др. Все они составляют народ, единство которого с армией в грозные годы ощущается во многих местах поэмы и определено формулой «народ — родные души».

Книга Твардовского органически срослась со своим временем. Война была подвигом всего народа, боровшегося за правое дело. Литературные качества книги неопределимы. Её отличают удивительная, почти зримая образность, психологическая убедительность, точность художественной детали, речевая выразительность. Поэтический язык Твардовского прост и естествен, включает много разговорных элементов.

Рифма Твардовского большей частью бесхитростна и проста. Среди рифм много оригинальных («Из Казани» — «сказали», «за стол» — «простой», «ехать» — «от смеха»). В то же время поэзию Твардовского отличает высокая культура стиха, мастерское использование мелодических, ритмических средств в изобразительных целях. Поэме свойственно богатство звукописи — аллитераций.

Традиция народного творчества определилась в пословичности, афористичности, меткости формулировок («Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди», «Береги солдат солдата», «Ради жизни на земле»).

Историико-литературную судьбу «Василия Тёркина» называют счастливой и в читательском восприятии, и в литературной критике. Особенно дорога была книга про бойца бывшим фронтовикам. Солдат Великой Отечественной войны узнавал в Тёркине себя. «С нетерпением ожидают бойцы и командиры прибытия газеты с новыми главами Вашей поэмы», — писали фронтовики Твардовскому.

А. Гришунин

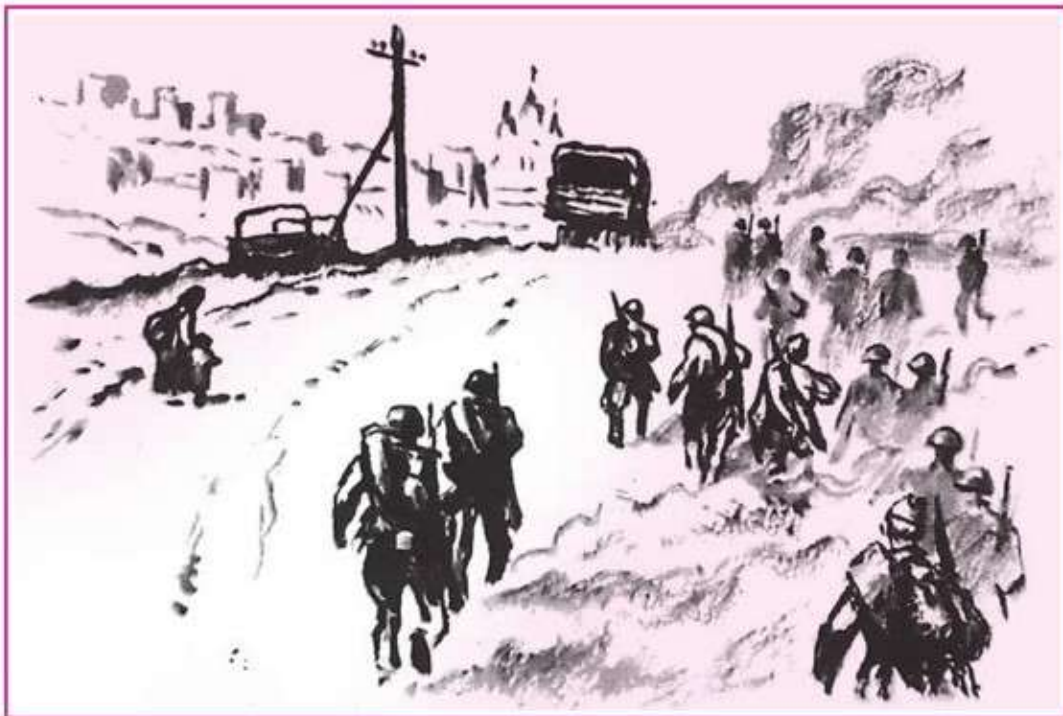
Проверьте себя

1. Какие произведения Твардовского вам известны? Расскажите о них и о том, что вы знаете о жизни писателя.
2. Каково отношение Твардовского к истории нашей страны?
3. Что рассказывает литературовед А. Гришунин о художественных особенностях поэмы «Василий Тёркин» — рифме, языке, героях? Читая текст Твардовского, отметьте примеры, подтверждающие наблюдения литературоведа.
4. Прочитайте главы из поэмы, сравните свои впечатления от прочитанного с рассуждениями исследователя творчества А. Т. Твардовского.

Василий Тёркин
(Главы из поэмы)

От автора

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода
Лучше нет простой, природной —
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-под льда, —
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б — вода.
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой, —
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.
Важно только, чтобы повар
Был бы повар — парень свой;
Чтобы числился не даром,
Чтоб подчас не спал ночей, —
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару —
Подобрей, погорячей;
Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя.
Однако
Дело тут не только в щак.
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбёжки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой, —



«Василий Тёркин».
Художник О. Верейский

Без тебя, Василий Тёркин,
Вася Тёркин — мой герой.
А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Что ж ещё?.. И всё, пожалуй.
Словом, книга про бойца
Без начала, без конца.

Почему так — без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать её сначала.

Почему же без конца?
Просто жалко молодца.

С первых дней години горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Тёркин,

Подружились мы с тобой.
 Я забыть того не вправе,
 Чем твоей обязан славе,
 Чем и где помог ты мне.
 Делу время, час забаве,
 Дорог Тёркин на войне.

Как же вдруг тебя покину?
 Старой дружбы верен счёт.

Словом, книгу с середины
 И начнём. А там пойдёт.

На привале

— **Д**ельный, что и говорить,
 Был старик тот самый,
 Что придумал суп варить
 На колёсах прямо.
 Суп — во-первых. Во-вторых,
 Кашу в норме прочной.
 Нет, старик он был старик
 Чуткий — это точно.

Слышь, подкинь ещё одну
 Ложечку такую,
 Я вторую, брат, войну
 На веку воюю.
 Оцени, добавь чуток.

Покосился повар:
 «Ничего себе едок —
 Парень этот новый».
 Ложку лишнюю кладёт,
 Молвит несердито:
 — Вам бы, знаете, во флот
 С вашим аппетитом.

Тот: — Спасибо. Я как раз
 Не бывал во флоте.
 Мне бы лучше вроде вас,
 Поваром в пехоте. —
 И, усевшись под сосной,
 Кашу ест, сутулясь.



«Василий Тёркин». На привале. Художник О. Верейский. 1976 г.

«Свой?» — бойцы между собой, —
«Свой!» — переглянулись.

И уже, пригревшись, спал
Крепко полк усталый.
В первом взводе сон пропал,
Вопреки уставу.
Привалясь к стволу сосны,
Не щадя махорки,
На войне насчёт войны
Вёл беседу Тёркин.

— Вам, ребята, с середины
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь ношу.
Вот вы прибыли на место,
Ружья в руки — и воюй.
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй¹?

¹ *Сабантуй* — народный татарский и башкирский праздник окончания весенних полевых работ.

— Сабантуй — какой-то праздник?
Или что там — сабантуй?

— Сабантуй бывает разный,
А не знаешь — не толкуй.

Вот под первую бомбёжкой
Полежишь с охоты в лёжку,
Жив остался — не горюй:
Это — малый сабантуй.

Отдышись, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как миномётный
Вдруг начнётся сабантуй.
Тот проймёт тебя поглубже, —
Землю-матушку целуй.
Но имей в виду, голубчик,
Это — средний сабантуй.

Сабантуй — тебе наука,
Враг лютует — сам лютуй.
Но совсем иная штука
Это — главный сабантуй.

Парень смолкнул на минуту,
Чтоб прочистить мундштучок,
Словно исподволь кому-то
Подмигнул: держись, дружок...

— Вот ты вышел спозаранку,
Глянул — в пот тебя и в дрожь:
Прут немецких тыща танков...
— Тыща танков? Ну, брат, врёшь.

— А с чего мне врать, дружище?
Рассуди — какой расчёт?

— Но зачем же сразу — тыща?

— Хорошо. Пускай пятьсот.

— Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.

— Ладно. Что там триста, двести —
Повстречай один хотя б...

— Что ж, в газетке лозунг точен:
Не беги в кусты да в хлеб.
Танк — он с виду грозен очень,
А на деле глух и слеп.

— То-то слеп. Лежишь в канаве,
А на сердце маята:
Вдруг как сослепу задавит, —
Ведь не видит ни черта.

Повторить согласен снова:
Что не знаешь — не толкуй.
Сабантуй — одно лишь слово —
Сабантуй!.. Но сабантуй
Может в голову ударить,
Или, попросту, в башку.
Вот у нас один был парень...
Дайте, что ли, табачку.

Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врёт
Весело и складно.

В стороне лесной, глухой,
При лихой погоде,
Хорошо, как есть такой
Парень на походе.

И несмело у него
Просят: — Ну-ка, на ночь
Расскажи ещё чего,
Василий Иванович...

Ночь глуха, земля сыра.
Чуть костёр дымится.

— Нет, ребята, спать пора,
Начинай стелиться.

К рукаву припав лицом,
На пригретом взгорке
Меж товарищей-бойцов
Лёг Василий Тёркин.

Тяжела, мокра шинель,
Дождь работал добрый.
Крыша — небо, хата — ель,
Корни жмут под рёбра.

Но не видно, чтобы он
Удручён был этим,
Чтобы сон ему не в сон
Где-нибудь на свете.

Вот он полы подтянул,
Укрывая спину,
Чью-то тещу помянул,
Печку и перину.

И приткнулся к земле сырой,
Одолён истомой,
И лежит он, мой герой,
Спит себе, как дома.

Спит — хоть голоден, хоть сыт,
Хоть один, хоть в куче.
Спать за прежний недосып,
Спать в запас научен.

И едва ль герою снится
Всякой ночью тяжкий сон:
Как от западной границы
Отступал к востоку он;

Как прошёл он, Вася Тёркин,
Из запаса рядовой,
В просолённой гимнастёрке
Сотни вёрст земли родной.

До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то — своя.

Спит герой, храпит — и точка.
Принимает всё, как есть.
Ну, своя — так это ж точно.
Ну, война — так я же здесь.



«Василий Тёркин».
Художник О. Верейский

Спит, забыв о трудном лете.
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй.

Спят бойцы, как сон застал,
Под сосною впóкат.
Часовые на постах
Мокнут одиноко.

Зги не видно. Ночь вокруг.
И бойцу взгрустнётся.
Только что-то вспомнит вдруг,
Вспомнит, усмехнётся.

И как будто сон пропал,
Смех прогнал зевоту.
— Хорошо, что он попал,
Тёркин, в нашу роту.

Тёркин — кто же он такой?

Скажем откровенно:

Просто парень сам собой
Он обыкновенный.

Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.

И чтоб знали, чем силен,
Скажем откровенно:
Красотою наделён
Не был он отменной.

Не высок, не то чтоб мал,
Но герой — героем.
На Карельском воевал —
За рекой Сестрою.

И не знаем почему, —
Спрашивать не стали, —
Почему тогда ему
Не дали медали.

С этой темы повернём,
Скажем для порядка:
Может, в списке наградном
Вышла опечатка.

Не гляди, что на груди,
А гляди, что впереди!

В строй с июня, в бой с июля,
Снова Тёркин на войне.

— Видно, бомба или пуля
Не нашлась ещё по мне.

Был в бою задет осколком,
Зажило — и столько толку.
Трижды был я окружён,
Трижды — вот он! — вышел вон.

И хоть было беспокойно —
Оставался невредим
Под огнём косым, трёхслойным,
Под навесным и прямым.

И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был рассеян я частично,
А частично истреблён...

Но, однако,
Жив вояка,
К кухне — с места, с места — в бой.
Курит, ест и пьёт со вкусом
На позиции любой.

Как ни трудно, как ни худо —
Не сдавай, вперёд гляди.

Это присказка покуда,
Сказка будет впереди. <...>

Переправа

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лёд,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся
И пошёл. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногами.



«Василий Тёркин». Художник *О. Вере́йский*

И плывут бойцы куда-то,
 Притаив штыки в тени.
 И совсем свои ребята
 Сразу — будто не они,
 Сразу будто не похожи
 На своих, на тех ребят:
 Как-то всё дружнее и строже,
 Как-то всё тебе дороже
 И родней, чем час назад...

Поглядеть — и впрямь — ребята!
 Как, по правде, желторот,
 Холостой ли он, женатый,
 Этот стриженный народ.

Но уже идут ребята,
 На войне живут бойцы,
 Как когда-нибудь в двадцатом
 Их товарищи — отцы.

Тем путём идут суровым,
 Что и двести лет назад
 Проходил с ружьём кремнёвым
 Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
 Возле их мальчишьях глаз
 Смерть в бою свистела часто
 И минёт ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,
 Управляются с шестом.
 А вода ревёт правее —
 Под подорванным мостом.

Вот уже на середине
 Их относит и кружит...

А вода ревёт в теснине,
 Жухлый¹ лёд в куски крошит,
 Меж погнутых балок фермы
 Бьётся в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверно,
 Достает шестом земли.

Позади шумит протока²,
 И кругом — чужая ночь.
 И уже он так далёко,
 Что ни крикнуть, ни помочь...

И чернеет там зубчатый,
 За холодною чертой,
 Неподступный, непочатый
 Лес над чёрною водой.

Переправа, переправа!
 Берег правый как стена...

Этой ночи след кровавый
 В море вынесла волна.

¹ Жухлый — потерявший яркость, свежесть.

² Прото́ка — рукав реки.

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересёк наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнём неразбериха —
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо —
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.

Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь как год.
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нём молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу,
За ночь грудой взялась¹
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

¹ *Взялась* — здесь: крепко, плотно слежалась, смёрзлась.

И, усталая с похода,
Что б там ни было, — жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, потом,
Мёрзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом, —
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги
Ни вперёд и ни назад...

А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пылью лежит на лицах —
Мёртвым всё равно.

Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть ещё паёк им пишет
Первой роты старшина.

Старшина паёк им пишет,
А по почте полевой
Не быстрее идут, не тише
Письма старые домой,

Что ещё ребята сами
На привале, при огне,
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы —
Спят бойцы.
Своё сказали
И уже навек правы.

И тверда, как камень, груды,
Где застыли их следы...

Может — так, а может — чудо?
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеда.

Долги ночи, жёстки зори
В ноябре — к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре
Над холодной водой.

То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?

Видят — маленькая точка
Показалась вдалеке:
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке?

— Нет, не чурка и не бочка —
Просто глазу маята.
— Не пловец ли одиночка?
— Шутишь, брат. Вода не та!
— Да, вода... Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.
— Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.
И сказал один боец:
— Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,
Как бы ни было, — впервой.

Подошёл сержант с биноклем,
Присмотрелся: нет, живой.
— Нет, живой. Без гимнастёрки.
— А не фриц? Не к нам ли в тыл?
— Нет. А может, это Тёркин? —
Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться.
Толку нет спускать понтон.
— Разрешите попытаться?
— Что пытаться?
— Братцы, — он!

И, у заберегов¹ корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Тёркин,
Встал живой, — добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает — свело.

Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали —
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...
Вдруг он молвит, как во сне:
— Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не всё на кожу тратить?

¹ *Забереги* — лёд, настывающий у берега в заморозки.

Дали стопку — начал жить,
 Приподнялся на кровати:
 — Разрешите доложить...
 Взвод на правом берегу
 Жив-здоров назло врагу!
 Лейтенант всего лишь просит
 Огоньку туда подбросить.
 А уж следом за огнём
 Встанем, ноги разомнём,
 Что там есть, перекалечим —
 Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно
 Тотчас плыть ему назад.

— Молодец, — сказал полковник, —
 Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой
 Говорит тогда боец:
 — А ещё нельзя ли стопку,
 Потому как молодец?

Посмотрел полковник строго,
 Покоился на бойца.
 — Молодец, а будет много —
 Сразу две.
 — Так два ж конца...

Переправа, переправа!
 Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идёт святой и правый,
 Смертный бой не ради славы —
 Ради жизни на земле.

О войне

— **Р**азрешите доложить
 Коротко и просто:
 Я большой охотник жить
 Лет до девяноста.

А война — про всё забудь
И пенять не вправе.
Собирался в дальний путь,
Дан приказ: «Отставить!»

Грянул год, пришёл черёд,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за всё на свете.

От Ивана до Фомы,
Мёртвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ, Россия.

И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.

Тут не скажешь: я — не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.

Невелик тебе расчёт
Думать в одиночку.
Бомба — дура. Попадёт
Сдуру прямо в точку.

На войне себя забудь,
Помни честь, однако,
Рвись до дела — грудь на грудь,
Драка — значит, драка.

И признать не премину,
Дам свою оценку,
Тут не то, что в старину, —
Стенкою на стенку.

Тут не то, что на кулак:
Поглядим, чей дюже, —
Я сказал бы даже так:
Тут гораздо хуже...

Ну, да что о том судить, —
 Ясно всё до точки.
 Надо, братцы, немца бить,
 Не давать отсрочки.

Раз война — про всё забудь
 И пенять не вправе,
 Собирался в долгий путь,
 Дан приказ: «Отставить!»

Сколько жил — на том конец,
 От хлопот свободен.
 И тогда ты — тот боец,
 Что для боя годен.

И пойдёшь в огонь любой,
 Выполнишь задачу.
 И глядишь — ещё живой
 Будешь сам в придачу.

А застигнет смертный час,
 Значит, номер вышел.
 В рифму что-нибудь про нас
 После нас напишут.

Пусть приврут хоть во сто крат,
 Мы к тому готовы,
 Лишь бы дети, говорят,
 Были бы здоровы... <...>

О награде

— **Н**ет, ребята, я не гордый.
 Не загадывая вдаль,
 Так скажу: зачем мне орден?
 Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к спеху.
 Вот закончили б войну,
 Вот бы в отпуск я приехал
 На родную сторону.

Буду ль жив ещё? — Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчёт медали:
Мне её тогда подай.

Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое —
Человек пришёл с войны.

Вот пришёл я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришёл, а тут гулянка.
Нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий —
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.

И, явившись на вечёрку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».

И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.

И дымил бы папирсой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.

— Как, мол, что? — Бывало всяко.
— Трудно всё же? — Как когда.
— Много раз ходил в атаку?
— Да, случалось иногда.

И девчонки на вечёрке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна...
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!

Ждёт девчонка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего...

— Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечёрке,
И девчонка — самый цвет.

— Нет, — сказал Василий Тёркин
И вздохнул. И снова: — Нет.
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.

Тёркин, Тёркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далёко вдаль.

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвою.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.

Где девчонки, где вечёрки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Тёркин,
Что туда дороги нет.
Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.

Страшный бой идёт кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Гармонь

По дороге прифронтóвой,
Запоясан, как в строю,
Шёл боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.

Шёл легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же
Щёлкал по лесу мороз,
Защемлял в пути всё туже,
Подгонял, под мышки нёс.

Вдруг — сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофёр,
Тормозит:

— Садись, пехота,
Щёки снегом бы натёр.
Далеко ль?

— На фронт обратно.

Руку вылечил.

— Понятно.

Не герой?

— Покамест нет.

— Доставай тогда кисет.

Курят, едут. Гроб — дорога.
Меж сугробами — туннель.
Чуть ли что, свернёшь немного,
Как свернул — снимай шинель.

— Хорошо — как есть лопата.

— Хорошо, а то беда.

— Хорошо — свои ребята.

— Хорошо, да как когда.

Грузовик гремит трёхтонный,
Вдруг колонна впереди.

Будь ты пеший или конный,
А с машиной — стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой.
Разговор — не разговор.
Наклонился над баранкой, —
Смолк шофёр,
Заснул шофёр.

Сколько суток полусонных,
Сколько вёрст в пурге слепой
На дорогах занесённых
Он оставил за собой...
От глухой лесной опушки
До невидимой реки —
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики,
Легковые — криво, косо,
В ряд, не в ряд, вперёд-назад,
Гусеницы и колёса
На снегу ещё визжат.

На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь —
Не дотронься как-нибудь.

— Вот беда: во всей колонне
Завалящей нет гармонии,
А мороз — ни стать, ни сесть...

Снял перчатки, трёт ладони,
Слышит вдруг:
— Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,
Впеременку — пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.

— У кого гармонь, ребята?
— Да она-то здесь, браток... —
Оглянулся виновато
На водителя стрелок.

— Так сыграть бы на дорожку?
 — Да сыграть — оно не вред.
 — В чём же дело? Чья гармошка?
 — Чья была, того, брат, нет...

И сказал уже водитель
 Вместо друга своего:
 — Командир наш был любитель...
 Схоронили мы его.

— Так... — С неловкою улыбкой
 Поглядел боец вокруг,
 Словно он кого ошибкой,
 Нехотя обидел вдруг.

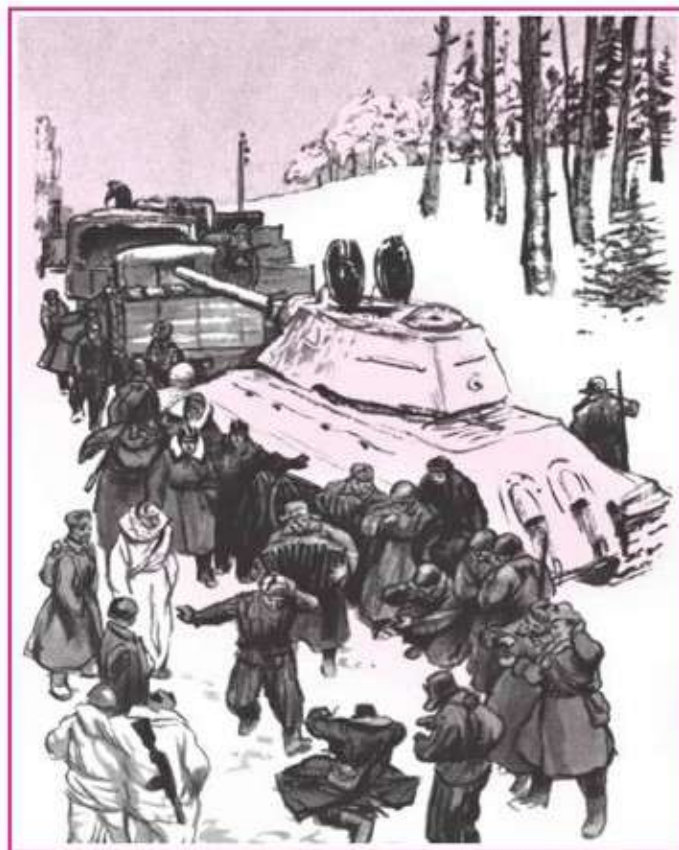
Поясняет осторожно,
 Чтоб на том покончить речь:
 — Я считал, сыграть-то можно,
 Думал, что ж её беречь.

А стрелок:
 — Вот в этой башне
 Он сидел в бою вчерашнем...
 Трое — были мы друзья.

— Да нельзя так уж нельзя.
 Я ведь сам понять умею,
 Я вторую, брат, войну...
 И ранение имею,
 И контузию одну.
 И опять же — посудите —
 Может, завтра — с места в бой...
 — Знаешь что, — сказал водитель, —
 Ну, сыграй ты, шут с тобой.

Только взял боец трёхрядку,
 Сразу видно — гармонист.
 Для началу, для порядку
 Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский
 Вдруг завёл, глаза закрыв,
 Стороны родной смоленской
 Грустный памятный мотив.



«Василий Тёркин». «Гармонь».
Художник О. Верейский

И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.

От машин заиндевелых
Шёл народ, как на огонь.
И кому какое дело,
Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Всё глядят на гармониста —
Словно что-то невдомёк.

Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли...

И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повёл о трёх танкистах,
Трёх товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовёт куда-то,
Далеко, легко ведёт.
— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой ещё народ.

Я не то ещё сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так ещё сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу,
И давайте я на шутку
Это всё переведу.

Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.

— Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.

— Отморозил парень пальцы, —
Надо помощь скорую.

— Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трёхрядку
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому ещё лежать.

И кому траву живому
 На земле топтать потом,
 До жены прийти, до дому, —
 Где жена и где тот дом?

Плясуны на пару пара
 С места кинулися вдруг.
 Задышал морозным паром,
 Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы!
 На носки не наступать! —
 И бежит шофёр тот самый,
 Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,
 Где пришёлся ко двору?
 Крикнул так, что расступились:
 — Дайте мне, а то помру!..

И пошёл, пошёл работать,
 Наступая и грозя,
 Да как выдумает что-то,
 Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечёрке
 Половицы гнёт в избе,
 Прибаутки, поговорки
 Сыплет под ноги себе.

Подаёт за штукой штуку:
 — Эх, жаль, что нету стуку,
 Эх, друг,
 Кабы стук,
 Кабы вдруг —
 Мощёный круг!
 Кабы валенки отбросить,
 Подковаться на каблук,
 Припечатать так, чтоб сразу
 Каблуку тому — каюк!

А гармонь зовёт куда-то,
 Далеко, легко ведёт...

Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.

Хоть бы что ребятам этим,
С места — в воду и в огонь.
Всё, что может быть на свете,
Хоть бы что — гудит гармонь.

Выговаривает чисто,
До души доносит звук.
И сказали два танкиста
Гармонисту:

— Знаешь, друг...
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат?,
Вся в крови была одежда,
И просил ты пить да пить...

Приглушил гармонь:

— Ну что же,
Очень даже может быть.

— Нам теперь стоять в ремонте.
У тебя маршрут иной.

— Это точно...

— А гармонь-то,
Знаешь что, — бери с собой.

Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту.
— Что вы, хлопцы, как же так?..

— Ничего, — сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.

Командир наш был любитель,
Это — память про него...

И с опушки отдалённой
Из-за тысячи колёс
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» — донеслось.

И опять увалы, взгорки,
Снег да ёлки с двух сторон...
Едет дальше Вася Тёркин, —
Это был, конечно, он. <...>

От автора

«Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна...»

Тёркин, Тёркин, в самом деле,
Час настал, войне отбой.
И как будто устарели
Тотчас оба мы с тобой.

И как будто оглушённый
В наступившей тишине,
Смолкнул я, певец смущённый,
Петь привыкший на войне.

В том беды особой нету:
Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок, придёт она.

Я сказать хотел иное,
Мой читатель, друг и брат,
Как всегда, перед тобою
Я, должно быть, виноват.

Больше б мог, да было к спеху,
Тем, однако, дорожи,
Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.

И, по совести, порою
Сам вздохнул не раз, не два,
Повторив слова героя,
То есть Тёркина слова:

«Я не то ещё сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так ещё сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу».

И хотя иные вещи
В годы мира у певца
Выйдут, может быть, похлеще
Этой книги про бойца, —

Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слёз,
Как тот сын, что рос не в холе,
А в годину бед и гроз...

С первых дней години горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Тёркин,
Подружились мы с тобой.

Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне,
Повстречавшись на войне.

От Москвы, от Сталинграда
Неизменно ты со мной —
Боль моя, моя отрада,
Отдых мой и подвиг мой!

Эти строки и страницы —
Дней и вёрст особый счёт,
Как от западной границы
До своей родной столицы
И от той родной столицы
Вспять до западной границы,
А от западной границы
Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.

Смыли вёсны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.

Сколько их на свете нету,
Что прочли тебя, поэт,
Словно бедной книге этой
Много, много, много лет.

И сказать, помыслив здраво:
Что ей будущая слава!

Что ей критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет, нет ли где ошибки, —
Горе, если не найдёт.

Не о том с надеждой сладкой
Я мечтал, когда украдкой
На войне, под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Без отлучки от колёс,
В дождь, укывшись плащ-палаткой,
Иль, зубами сняв перчатку,
На ветру, в лютой мороз
Заносил в свою тетрадку
Строки, жившие вразброс.

Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,

Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
Что случится где-нибудь.

Толку нет, что, может статься,
У гармошки за душой
Весь запас, что на два танца, —
Разворот зато большой.

И теперь, как смолкли пушки,
Предположим наугад,
Пусть нас где-нибудь в пивнушке
Вспомнит после третьей кружки
С рукавом пустым солдат;

Пусть в какой-нибудь каптёрке
У кухонного крыльца
Скажут в шутку: «Эй ты, Тёркин!» —
Про какого-то бойца;

Пусть о Тёркине почтенный
Скажет важно генерал, —
Он-то скажет непременно, —
Что медаль ему вручал;

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкой в руке: —
Вот стихи, а всё понятно,
Всё на русском языке...

Я доволен был бы, право,
И — не гордый человек —
Ни на чью иную славу
Не сменю того вовек.

Повесть памятной години,
Эту книгу про бойца,
Я и начал с середины
И закончил без конца

С мыслью, может, дерзновенной
Посвятить любимый труд
Павшим памяти священной,
Всем друзьям поры военной,
Всем сердцам, чей дорог суд.

1941—1945

Размышляем о прочитанном

1. Каким историческим событиям посвящены произведения Твардовского? О чём рассказывает читателю поэма «Василий Тёркин»?
2. Какова главная мысль главы «Переправа»? Как вы понимаете следующие строки:

Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа...

Тем путём идут суровым,
 Что и двести лет назад
 Проходил с ружьём кремнёвым
 Русский труженик-солдат...

Переправа, переправа...
 Пушки бьют в крошечной мгле.

Бой идёт святой и правый,
 Смертный бой не ради славы —
 Ради жизни на земле.

3. С какой целью в разных главах поэмы автор повторяет слова: «Бой идёт святой и правый, / Смертный бой не ради славы — / Ради жизни на земле»?
4. Что подчёркивает автор в характере героя в главе «О награде»?
5. В начальной главе «От автора» звучит гимн питьевой воде. Твардовский знал, как дорог солдату глоток воды. Что же поэт говорит о воде? В этой вводной главе поэт как бы набрасывает «темы», которые будут раскрыты в поэме. Что это за темы?
6. В главе «На привале» поэт рассказывает о сабантуе. Что это такое? Как вы понимаете слова Твардовского о том, что Тёркин «просто парень сам собой / Он обыкновенный»? Итак, Тёркин «обыкновенный». Так ли это? Ведь дальше автор рассказывает о том, что Тёркин много воевал, достоин медали, трижды был окружён, задет осколком, он мог легко подняться «с места — в бой». Что скрывается за авторским определением «обыкновенный»?
7. Можно ли сказать, что поэт показывает все тяготы войны?
8. Постарайтесь выстроить, опираясь на прочитанные главы поэмы, путь героя на войну: это и будни, и бой, и сабантуй, и труднейшая переправа, и т. д. Показывая войну, жизнь героя, поэт знакомит читателя с военными буднями. Каковы они?
9. Прочитайте главы, не вошедшие в учебник, и подумайте над следующими вопросами: как показывает автор в главе «Гармонь» трудную дорогу солдата и те немногие радости, которые выпадают на его долю в военные будни? Какие черты русского солдата открываются по мере преодоления фронтовой дороги?
10. Какие эпизоды главы «Два солдата» перекликаются с фольклорными произведениями?
11. Можно ли сказать, что в главе «Кто стрелял» писатель стремится показать наивысшее напряжение, которое испытывает солдат на фронте? Подтвердите свой ответ строками из этой главы.
12. Известно, что Василия Тёркина многие солдаты считали своим однополчанином и никогда не расставались с книгой про бойца. Чем это можно объяснить?
13. **Публичное выступление.** Подготовьте устный или письменный (на выбор) рассказ — характеристику Василия Тёркина.
14. Каково ваше отношение к иллюстрациям художника Ореста Верейского, насколько они близки вашему представлению об эпизодах поэмы?



Творческое задание

1. Характер Тёркина особый. Что его сближает с героями народных сказок, русскими богатырями Ильёй Муромцем, Алёшей Поповичем и др.?

Литературовед пишет: «Тёркин прост, но вовсе не простоват, не беден духовно. Ему дана от природы тончайшая душевная чуткость и деликатность, „высшая интеллигентность сердца“. Его жизнелюбие, феерическая талантливость, широта, доброта, щедрость отдачи и умение быть „от скуки на все руки“ — качества, необходимые всем в тягчайшей боевой обстановке».

Что вы могли бы добавить к этим словам исследователя о характере героя? Какими эпизодами можно подтвердить эти слова?

2. **Публичное выступление.** В поэме, кроме образа Тёркина, есть ещё один образ, который проходит через весь текст, — это автор. Образ автора является посредником между героем и читателем. Книга написана с глубоким уважением к «друго-читателю» (главы «О себе», «От автора» и др.). Каким вам представляется автор, его отношение к войне, к солдатам? Подготовьте устное сообщение на эту тему.
3. **Публичное выступление.** Необыкновенные читатели. Неискушённые в литературе читатели и слушатели поэмы полагали, что герой списан Твардовским с реального лица, хотя сам поэт неоднократно писал: «Тёркин не есть лицо, списанное с натуры, а лицо, как говорится, обобщённое». Как вы понимаете эти слова поэта? Подготовьте развёрнутый устный ответ на этот вопрос.



Учимся читать выразительно

1. Найдите в поэме эпизоды и рассуждения автора — юмористические и грустные. Прочитайте вслух или расскажите наизусть этот текст.
2. **Работа в группе.** Подготовьте выразительное чтение наизусть одной из глав «Василия Тёркина», чтение по ролям, инсценированное чтение (на выбор).



Михаил Александрович ШОЛОХОВ

1905—1984

Михаил Александрович Шолохов родился на хуторе Кружилин Вёшенской станицы бывшей Области войска Донского.

Родители рано заметили в мальчике любознательность, тягу к знаниям. Сначала пригласили в дом учителя, который подготовил своего ученика к поступлению в начальное училище. В 1914 году отец повёз Мишу в Москву, в подготовительный класс гимназии. Но вскоре он перевёл сына в Богучарскую гимназию, в Воронежской губернии, поближе к дому. Будущий писатель учился жадно, упорно занимался самообразованием. Увлечённо читал Гоголя и Толстого, Горького. Уже в гимназические годы пробовал писать. Особенно его привлекали исторические сюжеты. Занятия в гимназии были прерваны Гражданской войной.

«Поэты рождаются по-разному, — говорил впоследствии писатель. — Я, например, родился из Гражданской войны на Дону».

Вернувшись в родные места пятнадцатилетним подростком, Шолохов стал учителем по ликвидации неграмотности среди взрослых. Писал агитационные пьесы для самодеятельного театра. Затем служил в продотряде. «Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами», — вспоминал писатель. Несколько раз судьба будущего писателя делала очень крутые повороты: он оказался в плену у махновцев и лишь чудом избежал расстрела. В другой раз к расстрелу его приговорили свои же. Превышая полномочия, он оставлял хозяевам часть зерна, что было расценено преступлением перед революцией.

Когда закончилась Гражданская война, осенью 1922 года Шолохов едет в Москву, чтобы поступить учиться на рабфак — рабочий факультет. Но его не приняли — ни рабочего стажа, ни комсомольской путёвки у него не было и не могло быть. Он устраивается на тяжёлую низкооплачиваемую работу (грузчи-

ком, каменщиком), пробует писать для газет. В 1923 году газета «Юношеская правда» (теперешний «Московский комсомолец») напечатала его фельетон «Испытание».

В середине 1920-х годов в московских газетах и журналах были напечатаны первые рассказы Михаила Шолохова «Родинка», «Жеребёнок», «Чужая кровь», «Нахалёнок».

В рассказах этих зазвучали переполнявшие молодого писателя впечатления Гражданской войны — и погони, и схватки, смелость и бесшабашность, но прорывалось главное — трагедия отцеубийства («Бахчевник»), сыноубийства («Родинка»). Прорывается материнский плач по убитым сыновьям, протестующий против разрушения естественных человеческих, семейных, родственных связей человека.

Вслед за журнальными публикациями выходят первые книги Шолохова «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «О Колчаке, крапиве и прочем».

Вскоре, в конце 1920-х годов, были напечатаны первые две книги всемирно известного романа-эпопеи о трагедии народа в годы Гражданской войны «Тихий Дон», отмеченного в 1965 году знаком высшего международного признания — Нобелевской премией. Роман произвёл сильнейшее впечатление на читателей.

«Ещё не законченный роман Шолохова „Тихий Дон“ — произведение исключительной силы по широте картин, знанию жизни людей, по горечи своей фабулы. Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времён» — так оценила критика появление романа.

В 1930-е годы была опубликована первая книга романа «Поднятая целина» (первоначальное название «С потом и кровью»). Роман, в котором официальная критика увидела лишь восхваление колхозного строя. Но и в этом романе в центре внимания оказались драматические судьбы крестьян-середняков. Да и судьбы главных героев романа, организаторов колхозного строительства на Дону, завершаются трагически.

Последняя книга романа-эпопеи «Тихий Дон» была опубликована всего за несколько месяцев до ещё одной всенародной трагедии — нападения на родину немецко-фашистских захватчиков. С первых же дней Великой Отечественной войны Шолохов становится писателем-фронтовиком. Его очерки «На пути к фронту», «Первые встречи», «Люди Красной Армии», «На Смоленском направлении», «Военнопленные» рисовали портреты людей, героев-фронтовиков, воспроизводили драматические события войны, наполняли сердца людей любовью к родине, ненавистью к захватчикам.

Одним из самых известных произведений Михаила Шолохова о Великой Отечественной войне стал рассказ «Судьба человека».

Популярности рассказа в значительной степени способствовал талантливый фильм Сергея Бондарчука, снятый по шолоховскому произведению. Рассказ

был опубликован в 1957 году, когда прошли годы, необходимые для глубинного осмысления произошедшего, но ещё была свежа память о трагедии и героическом подвиге народа.

Сюжет произведения был подсказан писателю разговором со случайным собеседником, бывшим фронтовиком, с которым писатель встретился на дороге около хутора Московского в первый послевоенный год. Был весенний паводок. Шолохов отдыхал на берегу небольшой, но бурно разлившейся речки в ожидании переправы. К нему подошёл уже немолодой мужчина с мальчиком и, приняв писателя за своего брата-шофёра, поведал историю своей жизни. Запомнился писателю рассказ. Не раз память возвращала его к судьбе солдата.

Но лишь через десять лет был написан рассказ «Судьба человека».



Развиваем дар слова

Публичное выступление. Используя статью учебника, словаря «Русские писатели. XX век», сайта <http://gotourl.ru/12244>, а также другие ресурсы Интернета, подготовьте сообщение о жизни и творчестве М. А. Шолохова.

Судьба человека

(В сокращении)

*Евгении Григорьевне Левицкой,
члену КПСС с 1903 года*

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули тёплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лёд, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шести-десяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. <...>

Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку. <...>

Неподалёку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой.

Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлёк из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы. <...>

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый¹ мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую чёрствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездим, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплень, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивлённо приподнял белёсые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился². Широко шагнёшь, — он уже на рысь переходит³, вот и изволь к такому пехотинцу принаравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю, так и идём с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по лужине бредёт или леденику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да ещё походным порядком. <...>

¹ *Сутуловатый* — немного согбленный.

² *Подбился* — здесь: устал.

³ *На рысь переходит* — начинает бежать.

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идёт с ребёнком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горяшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. <...>

Ещё когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротню: и в том, как сидела на нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки, — всё выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожжённый в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками; на нём были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Ещё тогда я подумал: «Или вдовец, или живёт не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух:

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В Гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать пятый год подался на Кубань, ишачить¹ на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на

¹ *Ишачить* (простореч.) — выполнять тяжёлую, грубую и неблагодарную работу.

завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, вежливая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, по чём фунт лиха стоит¹, может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней её, не было на свете и не будет!

Придёшь с работы усталый, а иной раз и злой, как чёрт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьётся, чтобы и при малом недостатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь её, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». <...>

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. <...>

И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни скандала. <...>

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец солёный или ещё что-нибудь по лёгости, нальёт гранёный стаканчик водки: «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? <...>

Вскоре дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год ещё две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу. <...>

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулём показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошрое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл по ней, всё было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него появился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не

¹ Узнала, по чём фунт лиха стоит — узнала горе.

знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть, как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего ещё больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалёку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйста в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. <...>

Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понять, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял её руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три отступнула назад и опять ко мне идёт мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял её, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твёрдые губы.

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда её оттолкнул!.. <...> Оторвался я от Ирины,



«Судьба человека».
Художники Кукрыниксы

взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы, как лёд. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо: проезжать мне мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди, губы белые как мел, что-то она шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз... По большей части такой я её и во сне всегда вижу... <...>

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по лёгости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолёта, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку,

и сам я на погрузке работал так, что гимнастёрка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идёт, впереди стрельба, и уже начало пахнуть жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться¹ буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!» <...>

До батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на просёлок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжёлый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда, — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета, — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дёргается, всего трясёт, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всём теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колёсами, а бой-то уже сзади меня идёт... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает. <...>

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно.

¹ Чухаться — здесь: медлить.

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчком. «Вот, думаю, и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лёжа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дёрнул, автомат снял. <...>

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьёт и не задумается», — сообщаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, — а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошёл ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Толай, мол, рабочая скотина, трудиться на наш райх¹. Хозяином оказался, сукин сын! <...> А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперёд шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошёл немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шёл, поравнялся со мной и, не говоря худого слова, наотмашь хлестнул меня ручкой автомата по голове. Упал я, и он пришёл бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошёл. <...>

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время. <...>

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалёку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке, в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. <...> А лагерная охрана каждый день пьёт, песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шёл, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру

¹ Райх (от нем. *Reich*) — государство.

продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже ещё хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рваньё, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашёлся же из своих какой-то подлец, донёс коменданту лагеря про эти мои горькие слова. <...>

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белёсые, навывкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да ещё на «о» налегал, будто коренной волжанин. <...> Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идёт перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлёте. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идёт и бьёт каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. <...>

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. <...>

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — всё лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, мочёные яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою...

Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнёт, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щёлкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр¹ комендант, явился». Он и спрашивает

¹ *Герр* (от нем. *Herr*) — господин.

меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и всё это подаёт мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но, как только услышал эти слова, — меня будто огнём обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один чёрт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишите меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся». А я ему своё: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щёки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил вразяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой

не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьёзный с виду, поправил у себя на груди два Железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подаёт мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит¹ он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холodem от неё потянуло...

Вышел я из комендантской на твёрдых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши ещё в потёмках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учёт, ну, а сала, сам понимаешь — только губы помазать. Однако поделили без обиды. <...>

Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофёром, — шаг вперёд». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. <...>

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый, и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки.

На нём, я так определял, не менее трёх пудов² чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый

¹ *Засветит* — здесь: выстрелит.

² *Пуд* — мера веса; 16 кг.

день, бывало, жуёт да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусувает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запыхаживать на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролёт думал, как бы мне к своим на Родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как гроыхает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой ещё ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой всё чаще стал напиваться. Днём за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьёт. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, думаю, ждать больше нечего, пришёл мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!» <...>

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне на встречу строчат. В четырёх местах ветровое стекло пробили, радиатор попорили пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую её, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастёрке у него защитные погоны, каких я ещё в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чёртов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлёп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошёл из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился в блиндаж¹ к полковнику, как и полагает-

¹ *Блинда́ж* (от фр. *blindage*) — укрытие, оборонительное сооружение из железобетона, дерева, камня для защиты от артиллерии и авиации.

ся, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошёл мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привёз от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“¹. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуясь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь». <...>

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал всё коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силёнок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идёт, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай Бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что ещё в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжёлая бомба попала прямо в мою хатёнку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, не нашли от них и следа, и на месте хатёнки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилёг я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбёжки был в городе. Вечером вернулся в посёлок, посмотрел на яму и в ночь опять ушёл в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и всё.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. <...>

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

- Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит. <... >
- Что же дальше?

¹ *Язык* — здесь: пленный, от которого можно получить нужные сведения.

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошёл на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашёлся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей сорокапятки¹, имеет шесть орденов и медали. <...>

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. <...> Вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, демобилизованный ещё зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофёром в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играет.

Из рейса, бывало, вернёшься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить

¹ *Сорокапятка* — артиллерийское орудие; пушка сорок пятого калибра.



«Судьба человека».
Художники Кукрыниксы

с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этаким маленький оборвыш: личико всё в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечёсанный, а глазёнки — как звёздочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунул я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюша! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернёмся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазёнки ши-

роко раскрыл, ждёт, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и всё знаю.

Зашёл он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих, загнутых кверху ресниц, вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придётся».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щёки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель¹, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдёшь! Всё равно найдёшь! Я так долго ждал, когда ты меня найдёшь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьёт, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даваться! Но в кювет всё же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошёл, побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой всё жмётся ко мне изо всех силёнок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несусь в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внёс. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошёл я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашёл я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чём дело, засуетились, забежали.

¹ *Свиристель* — лесная птица.

А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дёргает её за подол и говорит: «Тётя, зачем же вы плачете? Папа нашёл меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». <...>

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью — вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждёт. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слёзы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать ещё засветло, днём наморился я очень, и он то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чём думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда своё кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться. «В Воронеже осталось», — говорю ему. <...>

— А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, всё это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит всё и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним ещё с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил её с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шофёрскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофёром, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командирujemy в Кашары походным порядком. <...> Всё это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да



«Судьба человека».
Художник О. Верейский

вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять¹... Иной раз так схватит и прижмёт, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут ещё одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И всё больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всём и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня,

¹ *Поршня надо менять* — здесь: устало, износилось сердце.

будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днём я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью про-снусь, и вся подушка мокрая от слёз.

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твёрдую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдём к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждёт их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек неsgiбаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть, всё преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина.

С тяжёлой грустью смотрел я им вслед... Может быть, всё и обо-шлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отой-дя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мяг-кая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернул-ся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы вой-ны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердца ребёнка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

«Рассказ в рассказе» — композиционный приём, состоящий в том, что рассказы-вающий о чём-либо предлагает выслушать новую историю, служащую как бы под-тверждением или развитием его начального повествования. Этот композиционный приём используется и в рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека».

В творческой лаборатории М. А. Шолохова

О СКАЗОВОЙ ФОРМЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ В РАССКАЗЕ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Связь с традицией русской прозы заметна в художественном оформлении произведений Шолохова. Он передал роль рассказчика герою, искренне поведал о всей скорби души. Формой сказа умело пользовались Гоголь, Даль, Достоевский, Лесков, Глеб Успенский. Шолохов продолжил эту линию. Он попутно комментирует события, чтобы ввести в обстановку беседы, лирическим словом завершить рассказ.

Сильная сторона произведения, присущая вообще Шолохову, — конкретная и достоверная основа. Точная топография, выверенные приметы времени года — ранней весны. Стиль напоминает манеру Пушкина и Чехова. Основную нагрузку несут глаголы, передающие живую динамику, ёмкие определения:

«...в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лёд, бешено разыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны», «остро и пьяняще запахло лошадиным потом».

Достоверность достигается знанием деталей, которые отражают житейский опыт автора. Когда мы читаем: «Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихопёрских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, лёгкий ветерок нёс извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли» — мы убеждаемся, насколько тонко знает, осязает этот мир Шолохов, как индивидуальны его наблюдения.

Или вот какими конкретными деталями наполняет автор рассказ: «в недобрую пору бездорожья», «видавший виды виллис», разные по форме, но одинаковые по содержанию определения паромного сооружения:

«на утлой плоскодонке», «ветхая лодчонка», «подручным средством конопатил ненадёжную посудину», «из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода», «проклятое корыто».

Шолохов точно выписывает обстоятельства, которые важны для последующего повествования.

Солдатские ватные штаны и стёганка, которые увидел Соколов на отдыхавшем около плетня авторе, сразу расположили его к общению:

«Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую чёрствую руку».

Во время переправы, пишет автор, «волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной волной». Поэтому отсырели, размочили папиросы. Пришлось сушить на плетне.

Это стало предметом разговора и сближения с Соколовым.

«— Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то курить и помирать тошно.

А ты богато живёшь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак мочёный, что конь лечёный, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим».

Так вяжутся узлы повествования, которое идёт плавно, ритмично, убеждает во всех деталях.

Начинается собственно сказ. В нём нет той затейливой словесной вязи, которую любили Даль и Лесков. Но речевой узор хорошо замечен и в рассказе Соколова. Он говорит образно, любит поговорки, меткие слова, разговорные формы, не всегда соответствующие грамматическим нормам.

Вот пример: «Пришлось, браток, хлебнуть горяшка по ноздри и выше» (сравнение с тонущим на воде), «Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!», «Подался на Кубань, ишачить на кулаков», «Толкнул [жену] вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья», «А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо [с фронта] — и трудящую женщину как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу», «везло-везло, да и довезло до самой ручки», «работал [на фронте] так, что гимнастёрка к лопаткам прикипала», «Там товарищи мои... погибают, а я тут чухаться буду?», «Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности», «расстреляли этих бедолаг [русских пленных]», «А били Богом проклятые гады и паразиты [фашисты] так, как у нас животину не бьют», «Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый, и в зад плечистый, как справная баба», «стал я запохаживать на человека», «Вижу, идёт пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завёл его в развалины и вытряхнул из мундира».

О парнишке: «Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать». Обращается к нему так: «Пойди, милок, поиграй возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдётся. Только гляди ноги не промочи!»

Проникали в его речь и слова шофёрской профессии: «Последний перегон шёл на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добрался», «Сердце у меня раскачалось, поршня надо менять».

Много раз он скажет собеседнику дружеское «браток». Во всём этом виден человек суровой трудовой закалки, отзывчивый, прямой.

Сказовая речь представляет нам как бы в лучах света характер героя и драматизм переживаний.

По материалам Ф. Г. Бирюкова

Размышляем о прочитанном

1. Какие эпизоды при чтении рассказа показались вам наиболее важными для раскрытия судьбы и характера Андрея Соколова?
2. Какое место в рассказе и почему занимает эпизод психологического поединка Соколова с комендантом Мюллером?
3. Подтвердите примерами справедливость слов М. А. Шолохова: «Меня интересует участь простых людей в минувшей войне».
4. Рассказ «Судьба человека» отличается от других произведений М. А. Шолохова. Его содержание в основном трагическое. Почему же рассказ не рождает чувство безысходности?
5. Кто ведёт повествование в начале и конце рассказа, а кто — в основной его части? Как в самой манере повествования проявляется характер рассказчика?
6. Как вы объясните обобщённый характер названия рассказа?

Творческое задание

Публичное выступление. Как преодолевает Андрей Соколов своё одиночество? Что нового прибавляет история усыновления Ванюшки к пониманию характера Соколова? В связи с чем герой рассказа говорит: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать!»? Какое значение имеет в рассказе портрет Андрея? Почему автору трудно было смотреть в его глаза, «словно присыпанные пеплом»? Подготовьте развёрнутое сообщение на эту тему.

Обогащаем свою речь

Объясните значение следующих слов и словосочетаний и введите их в свою разговорную речь: *одолеть, доверчивость, бредёт, плен, мелкая птица, озноб, осиротевшие, совесть, отзывчивый, послевоенная весна, тёплые ветры, пора бездорожья, переправа, плетень, ватная стёганка, оплошность, теплынь, распутица, украдкой, хлебнуть горюшка, краюшка хлеба.*

Проект

Работа в группе. Подготовьте электронную презентацию «Рассказ М. Шолохова „Судьба человека“ в иллюстрациях художников». В презентацию включите информацию о творчестве художников, иллюстрировавших шолоховский рассказ.

**СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ****«Судьба человека». (Отрывок)**

1. Вы прослушали рассказ много пережившего, прошедшего фашистский плен, потерявшего семью ветерана войны о его возвращении к послевоенной, мирной жизни. Удалось ли актёру передать интонации, чувства, естественность звучания дружеского рассказа?
2. Какие эпизоды рассказа Андрея Соколова, прочитанного актёром, произвели на вас наиболее сильное впечатление? Почему?
3. Что нового в ваше восприятие шолоховского рассказа, его героев, их судеб и характеров добавило чтение актёра А. Володина?



Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН

1918—2008

Это его назвала Лидия Чуковская возвращающим нас родной язык, любящим Россию, как Блоком сказано, оскорблённой любовью.

Жорж Ница

Александр Исаевич Солженицын родился в Кисловодске и происходил по отцу и по матери из зажиточной крестьянской семьи, жившей на Ставрополье. Отец в год рождения сына погиб из-за несчастного случая на охоте. Мать осталась вдовой. Вскоре, во время революционных событий, крестьянское семейное владение было разграблено, расхищено, и мать в 1924 году переехала в Ростов-на-Дону, где «в невероятно тяжёлых условиях», по воспоминаниям Солженицына, вырастила его.

Сначала Солженицын учился в школе, затем поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, который с отличием окончил досрочно в 1941 году. В эти же годы его влечёт история, и он в 1939 году поступает на заочное отделение Московского института философии, литературы, истории (МИФЛИ).

В школьные и студенческие годы Солженицын был захвачен советской социалистической действительностью, истово верил в идеалы коммунизма, романтизировал революцию. Всё это проявлялось в его общественной активности. Задуманный им роман о гибели армии генерала Самсонова (отец служил в этой армии, и, очевидно, мать передавала сыну его рассказы) получил значимое заглавие «Люби революцию».

По завершении университетского образования Солженицын приехал в Москву на сессию МИФЛИ. Здесь его застала начавшаяся война. После мобилизации, хотя он рвётся на фронт, попадает, однако, в тыловой батальон. Окончив артиллерийские курсы в Костроме и став лейтенантом, он наконец оказывается в частях действующей армии. С конца 1942 и по январь 1945 года будущий писатель прошёл славный боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Волею судьбы он оказался в тех местах, где в 1914 году были окружены войска гене-

рала Самсонова, того самого, в армии которого воевал его отец и о котором Солженицын собирался писать роман. Впоследствии писатель использует свои впечатления в романе «Август Четырнадцатого», в одном из его героев, Сане Лаженицыне, воспроизведёт черты отца.

Военные годы — пора нравственного, гражданского и писательского самосознания и самоопределения Солженицына. Неожиданно будущий знаменитый писатель, награждённый двумя боевыми орденами, был арестован и не по своей воле завершил воинский путь до окончания войны в звании капитана. В это время он уже был автором рассказов «Лейтенант», «В городе М.», «Письмо № 254» и начал писать повесть «Шестой курс». Некоторые произведения были одобрены писателем Б. А. Лавренёвым. Солженицын понимал, что его влечёт писательское поприще.

Война ярко высветила и резко обострила противоречия советского строя, и писатель стал задумываться о его сущности. Первоначально его мысль не касалась критики целей большевиков. Он лишь утверждал, что Сталин извратил смысл ленинских идей. Этими своими размышлениями он поделился в письмах со своим другом Н. Виткевичем, воевавшим на другом фронте. Их переписка стала достоянием контрразведки, которая обвинила Солженицына в «анти-советской агитации и попытке создания антисоветской организации». 9 февраля 1945 года Солженицын был арестован, позднее приговорён к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и неизбежной после истечения срока наказания ссылке. С этого времени начинается лагерно-ссылный период в жизни Солженицына, который делится на два временных отрезка.

Сначала Солженицын содержался в лагерях под Москвой и в Москве. Впечатления от этой лагерной жизни отразились в его пьесах «Олень и шалашовка», «Республика труда», в стихотворных циклах «Сердце под бушлатом», «Когда теряют счёт годам...». Затем его перевели в Рыбинск и снова возвратили в Москву, в «спецтюрьму № 16», прозванную «Марфинской шарашкой». Здесь заключённые разрабатывали средства радиотелефонной связи. В «Марфинской шарашке» Солженицын встретил талантливых и образованных людей. Общение с ними решительным образом повлияло на социальные, философские, исторические и этические взгляды писателя.

Благодаря им и хорошей библиотеке в Марфино (была возможность получать книги из Библиотеки им. В. И. Ленина) Солженицын значительно пополнил своё образование и резко отрицательно стал смотреть на большевистский режим. Откровением для писателя стало чтение полузапрещённого Ф. М. Достоевского и знакомство со словарём В. И. Даля. Русская литература и русский язык предстали Солженицыну совершенно в ином свете, чем изображала их для массового сознания официальная советская пропаганда. Достоевский повлиял на Солженицына не только как художник, но и как идеолог «почвенни-

чества», провозглашавший необходимость сближения интеллигенции с народом («почвой») на общей религиозно-нравственной основе. Даль обострил присущее писателю языковое чутьё.

С 1950 года, когда Солженицына перевели в Экибастуз (Казахстан), начинается второй период его лагерной жизни. Здесь он работал литейщиком, каменщиком, был бригадиром и продолжал сочинять. Записывать сочинённое запрещалось. Солженицын наизусть вытверживал стихи большой автобиографической поэмы «Дороженька» (позднее он восстановил в памяти две главы из этой поэмы — «Прусские ночи» и «Пир победителей»). Здесь Солженицын задумывает повесть «Один день Ивана Денисовича» (первоначальное название — «Щ-854 (Один день одного зэка)'), в которой намеревается отобразить впечатления и размышления этой поры. Там же обнаружилась страшная болезнь — рак. В 1952 году у Солженицына удаляют опухоль. Через год его освобождают из заключения и направляют на «вечное ссыльнопоселение» в аул Кок-Терек близ города Джамбул. После смерти Сталина (1953) писателя освобождают, и для него начинается новая жизнь.

Оценивая лагерный период, Солженицын увидел в нём не только нравственные и иные муки, не только несправедливость, несчастье и страдание, но и положительное содержание. Писатель понял посланное ему испытание как Божий указ. Без лагерной жизни, говорил и писал Солженицын, он стал бы плохим писателем, потому что не имел бы такой жизненной школы и такой глубины понимания жизни, какую дал ему лагерь. В интервью с Н. Струве он высказался так: «Был Божий указ, потому что лагерь направил меня наилучшим образом к моей главной теме...» Критики, писавшие о Солженицыне, заметили, что годы заключения писателя в ГУЛАГе (так называлось Главное управление лагерей в составе НКВД, а затем КГБ) имели для него такое же воспитательное, политическое, философское, историческое и этическое значение, как для Достоевского его омский острог. Поэтому «Архипелаг ГУЛАГ» для Солженицына сравним с «Записками из Мёртвого дома» Достоевского.

Ещё не освободившегося из ссылки Солженицына ожидала новая беда: рак дал о себе знать, и на этот раз положение было куда более серьёзным. Писателя отпустили в Ташкент для операции. Он, по его словам, приехал туда «почти уже мертвецом». Его чудом удалось спасти. И опять он увидел в этом протянутую к нему свыше длань: высшими силами ему была дана «отсрочка» для того, чтобы он выполнил возложенную на него миссию — сказать ту правду, которую он знал, и тем словом, каким он владел.

После реабилитации Верховным судом Солженицын сначала приехал в Москву, затем отправился в Ростов. Ему хотелось «затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила». В качестве учителя сельской школы он поселился в деревне Мильцево Курловского района Влади-

мирской области. Там он снял комнату в доме крестьянки Матрёны Васильевны Захаровой. В ней он увидел характерный народный тип русской крестьянки. Она послужила прототипом рассказа «Матрёнин двор» (1963; первоначальное название — «Не стоит село без праведника»), в центре которого — кризис советской деревни и неузнанный праведник. Матрёна, старая, больная, нищая крестьянка, самоотверженно помогает односельчанам, ближним, чем они охотно пользуются. Её подвижничество, однако, уберегает деревенский мир от полной бездуховности, деградации и катастрофы.

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

В 1959 году произошло поистине историческое событие: за три недели Солженицын написал повесть «Один день Ивана Денисовича», замысел которой, как помним, возник в 1950 году в экибастузском лагере и давно созрел. Он передал повесть А. Т. Твардовскому в журнал «Новый мир», и в июне 1962 года (№ 11) она вышла в свет. Затем повесть была напечатана в «Роман-газете», следом появилось её отдельное издание. Весь мир узнал о новом писателе. К Солженицыну пришли слава и всемирная известность.

Тогдашнего читателя поразили в повести изображение жестокостей сталинизма, неотвратимая тупая и изощрённая «работа» репрессивного механизма, созданного для уничтожения и обесчеловечивания людей, превращения их в существа, различаемые лишь номерными знаками.

Иван Денисович и его сокамерники, несмотря ни на что, сохраняли человеческое достоинство и отличались какой-то упорной и упрямой нравственной прочностью в самых жутких условиях подневольной жизни. При этом герой повести, Шухов, особенно не задумывается над тем, откуда в нём эта нравственная устойчивость и стойкость. Он поступает так, как велит ему вкорённое нравственное начало. В нём говорят не рассудок и не разум, а непосредственное чувство, то есть нечто более глубокое и более естественное, что лежит в основе его существа. Он держится тех «правил» морального поведения, которые впитал с молоком матери от предков и которые уходят в толщу народной жизни.

Публикация повести потребовала от Солженицына утолить живую и настоятельную жажду людей в правдивом и глубоком ответе на страшные вопросы, поставленные послереволюционной действительностью: почему стали возможными чудовищные преступления? Писатель и сам задумывался над этим: в 1958 году он замыслил книгу, в которой хотел рассказать о судьбах так называемых «врагов народа». Книга, вышедшая впоследствии под заглавием «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), жанр которой, по определению автора, «художественное исследование», выросла в огромное, масштабное полотно как по охвату лиц, судеб, событий, так и по их осмыслению. Материалом книги по-

служила история русского, в основном лагерного народа за 1918—1956 годы. Перед читателем проходят тысячи исковерканных и разрушенных судеб, раскрываются страшные душевные бездны. «Архипелаг ГУЛАГ» стал гражданским и человеческим подвигом писателя.

Во время работы над своим «художественным исследованием» Солженицын создал сценарий «Знают истину танки!», пьесу «Свет, который в тебе» («Свеча на ветру»), рассказы «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела», «Крохотки». Тогда же (1963—1967) пишется роман «Раковый корпус». В романе мощно звучит тема преодоления боли и смерти и связанная с ней тема физического и духовного выздоровления человека: параллельно избавлению тела от недугов выздоравливает, освобождается от страхов, от принуждения, от гнусных и ложных теорий и предрассудков душа. Вышедший из больницы и духовно обновлённый герой как бы впервые в жизни видит прекрасный и как будто «только что народившийся мир».

«Раковый корпус», как и другие произведения Солженицына, был отдан А. Т. Твардовскому в журнал «Новый мир». Однако публикация его оказалась невозможной. Над Твардовским, «Новым миром» и Солженицыным сгустились чёрные тучи.

Солженицын удаляется в глухие места России, живёт у близких знакомых, но не прекращает отстаивать своё право говорить народу правду. В 1967 году он предлагает съезду писателей солидарно выступить против одного из главных зол — явной и тайной цензуры. Но съезд не внимает голосу писателя и не оглашает его обращения. Эту и другие истории неравной борьбы с режимом



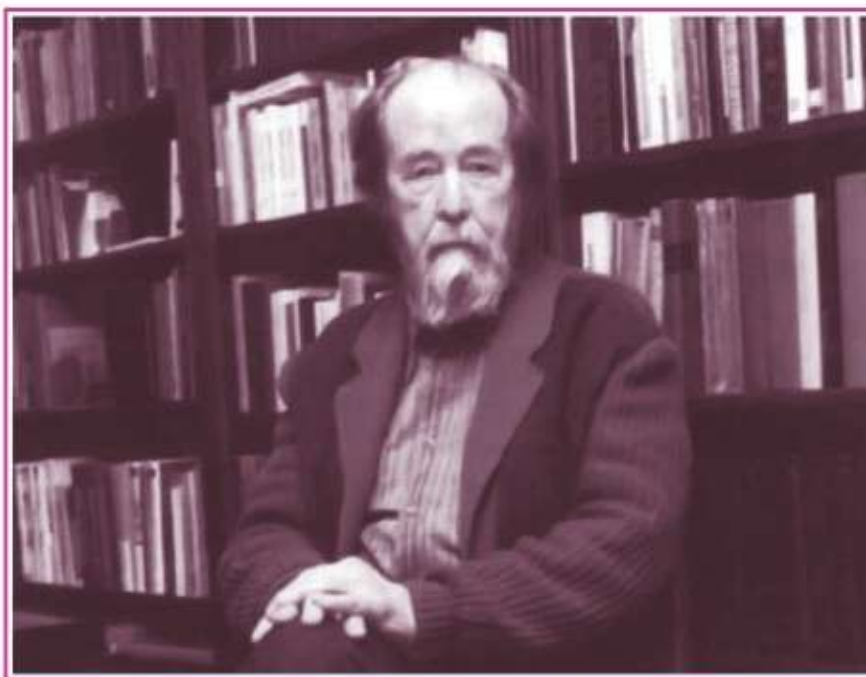
А. И. Солженицын на церемонии вручения Нобелевской премии. *Фотография.* Стокгольм, 10 декабря 1974 г.

писатель собирает в книгу и впоследствии издаёт её под заглавием «Бодался телёнок с дубом. Очерк литературной жизни» (Париж, 1975).

Напряжение усиливается в связи с новыми обстоятельствами: изданием на Западе романов «Раковый корпус» (осенью 1969 года Солженицына исключают из Союза писателей, и он уже не может легально жить ни в Рязани, ни в Москве, находя приют у знакомых), присуждением в 1970 году по предложению французского писателя Франсуа Мориака Нобелевской премии по литературе (её вручение тогда не состоялось), изданием в Париже нового романа «Август Четырнадцатого» (1971) и книги «Архипелаг ГУЛАГ» (1973). С начала 1974 года преследования властей достигают высшего накала: писателя арестовывают, лишают советского гражданства и в феврале того же года высылают за границу. Сразу после ареста в свет выходит знаменитый манифест Солженицына, подготовленный им заранее, — «Жить не по лжи!».

В Германии, куда прилетел высланный писатель, его встретил немецкий прозаик Генрих Бёлль, у которого изгнанник остановился до переезда в Цюрих (Швейцария).

По приезде за границу Солженицын основал Русский общественный фонд помощи заключённым и их семьям, куда поступали доходы от издания его сочинений. Осенью он представляет зарубежной общественности сборник «Изпод глыб», где ему принадлежит предисловие и несколько статей («На возврате дыхания и сознания», «Раскаяние и самоограничение», «Образованщи-



А. И. Солженицын.
Фотография. 1998 г.

на»). Основная идея — критика либеральной интеллигенции, претендующей на духовное лидерство, но не имеющей прочных морально-религиозных устоев.

В октябре 1976 года Солженицын покинул Цюрих и переехал в США. Здесь, в штате Вермонт, он в 1977 году основал «Всероссийскую мемуарную библиотеку» и начал выпуск книг из серии «Исследования новейшей русской истории».

После падения советской власти Солженицын вместе с семьёй в 1994 году возвратился в Россию, где выступил с рядом очерков и статей, посвящённых «обустройству» страны на началах народных чаяний, философско-религиозных представлений в духе русских традиций и свободного проявления способностей человека. В 1997 году была учреждена Литературная премия А. Солженицына. В 1998 году писатель получил награду Русской православной церкви — орден Св. благоверного князя Даниила Московского.

Умер Александр Исаевич Солженицын в 2008 году.



Развиваем дар слова

Используя материалы учебника, словаря «Русские писатели. XX век», подготовьте сообщение о жизни и творчестве А. И. Солженицына.

Матрёнин двор

На сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идёт к Мурому и Казани, ещё с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ошупи. Пассажиры льнули к стёклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.

Да я.

1

Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не знал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила.

За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло — учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно¹ и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за чёрной кожаной дверью, а за остеклённой перегородкой, как в аптеке. Всё же я подошёл к окошечку робко, поклонился и попросил:

— Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была — все ведь просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко — Высокое Поле. От одного названия веселела душа.

Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше — когда ниоткуда не слышно радио и всё в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снесь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом всё ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздём по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

¹ Облоно — областной отдел народного образования.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубili — торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свёл под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыв в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался посёлок — однообразные худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резбой по фасаду, с остеклёнными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над посёлком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь посёлок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густодымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами.

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звёздный свод распахивался над головой.

Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрёл по посёлку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же.

Меня поразила её речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова её были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:

— Пей, пей с душою желанной. Ты, потай¹, приезжий?

— А вы откуда? — просветлел я.

И узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта — Тальново, испокон она здесь, ещё когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идёт деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово — все поглуше, от железной дороги подале, к озёрам.

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.

¹ *Потай* — секретно, тайно; здесь: наверно.

И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.

Я оказался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа за меня ещё машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у неё места не было (они с мужем воспитывали её престарелую мать), оттого она повела меня к одним своим родным и ещё к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, везде было тесно и лопотно.

Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособооченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь.

— Ну, разве что к Матрёне зайдём, — сказала моя проводница, уже уставая от меня. — Только у неё не так уборно, в запущи она живёт, болеет.

Дом Матрёны стоял тут же, неподалёку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепой, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий — восемнадцать венцов¹. Однако изгибалась щепка, посерели от старости брёвна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка².

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завёртку — нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осенённые крышей. Налево ещё ступеньки вели вверх в горницу — отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротное, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти.

Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределённым тёмным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба и особенно лучшая приоконная её часть была уставлена по табуреткам и лавкам — горшками и кадками с фикусом. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хо-

¹ Венёц — здесь: связь четырёх брёвен (один ряд) в срубе, в деревянном доме.

² Обвершка — крыша, кровля.

заяйки показалось мне жёлтым, больным. И по глазам её замутнённым можно было видеть, что болезнь измотала её.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на чёрный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на неё не каждый месяц, но, налетев, — держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрёна не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать.

И хотя Матрёна Васильевна вынудила меня походить ещё по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:

— Не умемши, не варемши — как утрафишь? — но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в её глазах оттого, что я вернулся.

Поладили о цене и о торфе, что школа привезёт.

Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрёна Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусоленной книжке учётчика.

Так и поселился я у Матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили. Её кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесня от света любимые Матрёнины фикусы, ещё у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было — его ещё в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она ещё не протекала и ветрами студёными выдувало из неё печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны.

Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё: кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не был кошачье-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трёх ног: туп! — такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтобы уберечь четвёртую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, ещё по хорошей жизни, оклеил Матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоёв. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали — и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанию, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухню от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухне по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку — пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их травили. Тараканов менело¹, но Матрёна боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.

По ночам, когда Матрёна уже спала, я занимался за столом, — редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршанье их — была их жизнь.

И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панфёрова и ещё стопу каких-то книг, но — молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрёны.

Матрёна вставала в четыре-пять утра. Ходикам Матрёниным было двадцать семь лет как куплены в сельпо. Всегда они шли вперёд, и Матрёна не беспокоилась — лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, веж-

¹ Тараканов *мэнело* — тараканов уменьшалось, становилось меньше.

ливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу (все животы её были — одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трёх чугунах: один чугунок — мне, один — себе, один — козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе — мелкую, а мне — с куриное яйцо. Крупной же картошки огород её песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, — крупной не давал.

Мне почти не слышались её утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да ещё лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

— Доброе утро, Матрёна Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм... так же и вам!

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: *картовь* необлупленная, или суп *картонный* (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою — как самой дешёвой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налёт на нёбе, дёснах и вызывало изжогу.

Но не Матрёны в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идёт скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе тёплыми корм и поило для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.

Я покорно съедал всё наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не умемши, не варемши — как утрафишь?»

— Спасибо, — вполне искренне говорил я.

— На чём? На своём на добром? — обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: — Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К *ужоткому* значило — к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что я мог заказать к ужоткому? Всё из того же, картовь или суп картонный.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка её кругловатого лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрёна принимала выражение или натянутое, или повышено-суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

В ту осень много было у Матрёны обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили её соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть — и из колхоза её отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матрёной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей пенсии *за себя*, а добиваться можно было только *за мужа*, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получал. Хлопоты были — добыть эти справки; и чтоб написали всё же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живёт она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом всё это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и ещё носить. И узнавать — дадут ли пенсию.

Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли её два месяца — то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в сёлах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвёртый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрёны одной пачкой сколоты.

— Притесняют меня, Игнатич, — жаловалась она мне после таких бесплодных проходов. — Иззаботилась я.

Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: у неё было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом — по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

— Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, — говорила она о торфе. — Ну и местечко, любота одна!

— Да Матрёна Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая.

— Фу-у! твоего торфу! Ещё столько, да ещё столько — тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да *дуель* в окна, так не столько топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.

Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы — и щемило сердце. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли — начальству, да кто при начальстве, да по машине — учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено — и спрашивать о нём не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или мутно, или просто душно и о чём угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запасся. А зимы не ожидалось.

Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днём. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошился¹. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одно-го мешка такого, принесённого иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

¹ *Затомошился* — засуетился.

— Да чего говорить обапол¹! — сердилась Матрёна на кого-то невидимого. — Как лошадей не стало, так чего на себе не припрёшь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой сазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!

Ходили бабы в день — не по разу. В хорошие дни Матрёна приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами и каждый вечер забивала лаз доской.

— Разве уж догадаются, враги, — улыбалась она, вытирая пот со лба, — а то ни в жисть не найдут.

Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульчиков по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать — на крошку, на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их — с санками по ночам.

Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что, помимостряпни и хозяйства, на каждый день у неё приходилось и какое-нибудь другое немалое дело; закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день её будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях² («Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня), кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была ещё где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.

— А почему вы коровы не держите, Матрёна Васильевна?

— Э-эх, Игнатич, — разъясняла Матрёна, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. — Мне



Матрёна Васильевна Захарова —
прототип героини рассказа
«Матрёнин двор».
Фотография. 1956 г.

¹ Обапол — вокруг, около, рядом.

² В четвертях — в бутылках, вмещавших четвертую часть ведра.

молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самую с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, всё в колхоз, а себе уж из-под снега — что за трава? По-бывалошному кипели с сеном в межень, с Петрова до Ильина¹. Считалось трава — медовая...

Так, одной утельной² козе собрать было сена для Матрёны — труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжёлой травой, она тащила её домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена — навильник³.

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась.

— Та-ак, — отдельно говорила жена председателя. — Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать на-воз вывозить!

Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж, — тянула она. — Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена. — И тут же спешно исправлялась: — Кому часу приходиться-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твёрдой юбкой.

— Во как! — пеняла Матрёна вслед. — И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?

¹ В межень, с Петрова до Ильина — промежуток между Петровым днём (29 июня ст. ст. — праздник святых апостолов Петра и Павла) и Ильиным днём (день Илии-пророка — 20 июля ст. ст.).

² Утельная — единственная, только одна.

³ Навильник — свитая вязанка.

И размышляла потом весь вечер:

— Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждёшь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, *по себе* работали, так никакого *звуку* не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Всё же поутру она уходила со своими вилами.

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила:

— Завтра, Матрёна, придёшь мне пособить. Картошку будем до-капывать.

И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черёд дел, шла помогать соседке и, воротясь, ещё говорила без тени зависти:

— Ах, Игнатич, и крупная же картошка у неё! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!

Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатою тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрёну в помощь.

— Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать.

— Не берёт она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь.

Ещё суета большая выпадала Матрёне, когда подходила её очередь кормить козких пастухов: одного — здоровенного, *немо-глухого*, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой сигаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов лучше.

— Бойся портного да пастуха, — объясняла она мне. — По всей деревне тебя ославят, если что им не так.

И в эту жизнь, густую заботами, ещё врывалась временами тяжёлая немочь, Матрёна валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрёны с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрёна не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично перед соседями — мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрёне, как отлежится, приходите на медпункт самой. Матрёна ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу — да так и заглохло.

Дела звали к жизни. Скоро Матрёна начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.

— Это ты меня прежде не видал, Игнатич, — оправдывалась она. — Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала. Свёкор кричал: «Матрёна! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь¹ не подходил, чтоб мой конец бревна на передок посадить. Конь был военный у нас Волчок, здоровый...

— А почему военный?

— А нашего на войну забрали, этого подраненного — взамен. А он стиховой² какой-то попался. Раз с испугу сани понёс в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и тижели не признают.

Но отнюдь не была Матрёна бесстрашной. Боялась она пожара, боялась молоньи³, а больше всего почему-то — поезда.

— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, коленки трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрёна.

— Так, может, потому, что билетов не дают, Матрёна Васильевна?

— В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд — трогацать! Мечемся туда-сюда: да взойдите ж в сознание! Мужики — те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, впёрлись прям так, без билетов — а вагоны-то все *простые* идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты не-сочувственные, — не знато...

Всё ж к той зиме жизнь Матрёны наладилась как никогда. Стали таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Ещё сто с лишком получала она от школы и от меня.

— Фу-у! Теперь Матрёне и умирать не надо! — уже начинали завидовать некоторые из соседок. — Больше денег ей, старой, и девать некуда.

— А что — пенсия? — возражали другие. — Государство — оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет.

Заказала себе Матрёна скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношеной железнодорожной шинели,

¹ *Дивирь* (искаж. *дэверь*) — брат мужа.

² *Стиховой* — здесь: своенравный; тот, на кого находит *стих* — причуда, внезапная странность, каприз, дурь.

³ *Молонья* — молния.

которую подарил ей машинист из Черустей, муж её бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала.

И в середине зимы зашила Матрёна в подкладку этого пальто две-сти рублей — себе на похороны. Повеселела:

— Маненько и я спокой увидала, Игнатич.

Прошёл декабрь, прошёл январь — за два месяца не посетила её болезнь. Чаше Матрёна по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощёлкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на Крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя Матрёниными родными сёстрами, звавшими Матрёну как старшую — лёлька или нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сёстрах — то ли опасались они, что Матрёна будет просить у них помощи?

Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрёне этот праздник: ходила она за пять вёрст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать — Матрёна не поспела среди первых, а в конце — не оказалось её котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унёс.

— Бабоньки! — ходила Матрёна среди молящихся. — Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освящённую? в котелке?

Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрёна печальная. Всегда у неё бывала святая вода, а на этот год не стало.

Не сказать, однако, чтобы Матрёна верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что если метель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у неё — никогда не видал её молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда я шёл в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они тёмные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрёна лампадку.

Только грехов у неё было меньше, чем у её колченогой кошки. Та — мышей душила!..

Немного выдравшись из колотной своей житёнки, стала Матрёна повнимательней слушать и моё радио (я не преминул поставить себе *разведку* — так Матрёна называла розетку. Мой приёмничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту, но, действительно, выходил он для меня из глухой избы — разведкой). В тот год повелось по две, по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках.

Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала:

— Ездят-ездят, чего-нибудь наездят.

Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрёна из кухни:

— Всё новые, новые, на старых работать не хотят, куды старые складывать будем?

Ещё в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрёна качала головой с печи:

— Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.

Исполнял Шаляпин русские песни. Матрёна стояла-стояла, слушала и проговорила решительно:

— Чудно поют, не по-нашему.

— Да что вы, Матрёна Васильевна, да прислушайтесь!

Ещё послушала. Сжала губы:

— Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.

Зато и вознаградила меня Матрёна. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрёна, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах.

— А вот это — по-нашему... — прошептала она.

2

Так привыкли Матрёна ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли я когда женат? Все тальновские бабы приставали к ней — узнать обо мне. Она им отвечала:

— Вам нужно — вы и спрашивайте. Знаю одно — *дальний* он.

И когда нескоро я сам сказал ей, что много провёл в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.

А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередел её прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.

Знал я, что замуж Матрёна вышла ещё до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к *печке* (то есть не было в жилых ни свекрови, ни старшей золовки¹ незамужней, и с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват). Знал, что детей у неё было шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив — так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживаются из памяти его...

Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий чёрный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на серединку комнаты, к печке-«голландке». Всё лицо его облегал густые чёрные волосы, почти не тронутые сединой: с чёрной окладистой бородой сливались усы густые, чёрные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены чёрные, едва выказывая уши, поднимались к чёрным космам, свисавшим с темени; и ещё широкие чёрные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всём облике старика показалось мне многознание и достоинство. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, — сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой.

Когда я пришёл, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:

— Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев Антошка...

Дальше мог бы он и не говорить... При всём моём порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал всё то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый

¹ *Золóвка* — сестра мужа.

румяный малец из 8-го «Г», выглядевший, как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, всё равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек — и то же ожидало его в третьей четверти.

Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды и пришедшему ко мне на униженный поклон, — как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание своё?

И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжёт, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон.

— Да уж куда крутей, батюшка, — заверил меня гость. — Бью его теперь, что неделя. А рука тяжёлая у меня.

В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрёна сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрёна и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушёл от меня с тем, что будет заходить-узнавать, я спросил:

— Не пойму, Матрёна Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?

— Дивиря моего сын, — ответила Матрёна суховато и ушла доить козу.

Разочтя, я понял, что чёрный настойчивый этот старик — родной брат мужа её, без вести пропавшего.

И долгий вечер прошёл — Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, — Матрёна вдруг из тёмного своего угла сказала:

— Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.

Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её, — но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас ещё тот старик домогался её.

Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала.

Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся — и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну.

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

— Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат — старший... Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три... Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зелёную шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, ещё не потемневшими тогда, стругаными брёвнами и весёлым смолистым запахом.

— И вы его?.. И что же?..

— В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили её. Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах.

— Пошёл он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...

Обязанное старческим слинявшим платочком, смотрело на меня в не прямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны — как будто освобождённое от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.

Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.

— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год.

Говорят у нас: умная выходит после Покрова¹, а дура — после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров день повенчались, а к Миколу зимнему² — вернулся... Фаддей... из венгерского плена.

Матрёна закрыла глаза.

Я молчал.

Она обернулась к двери, как к живой:

— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!

Я вздрогнул. От её надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, чёрный, в тёмных дверях и топором замахнулся на Матрёну.

Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала:

— Ой-ой-ойиньки, головешка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имячко твоё искать, вторую Матрёну. И привёл-таки себе из Липовки Матрёну, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.

Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я её: всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж её бьёт, и скарред муж, жилы из неё вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у неё был на слезе.

Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть — так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.

— Меня *сам* ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. — По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику... То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захлебнуться бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.

Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрёна тоже шестерых детей (среди них и Антошка мой, самый младший, поскрёбыш) — и выжили все, а у Матрёны с Ефимом дети не стояли: до трёх месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.

— Одна дочка только родилась, помыли её живую — тут она и померла. Так мёртвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя

¹ После Покрова — после 1(14) октября, праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

² Миколу зимний — имеется в виду Николин день (праздник Николы зимнего — 6 (19) декабря).

была в Петров день, так и шестого ребёнка, Александра, в Петров день схоронила.

И решила вся деревня, что в Матрёне — порча.

— *Порция* во мне! — убеждённо кивала и сейчас Матрёна. — Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила — ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась...

И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так и младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней беспритульная Матрёна.

И попросила она у той второй, забитой, Матрёны — чрева её урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.

Десять лет она воспитывала её здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросёнка зарежут — сальца.

Страдая от недугов и чая недалёкую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избой, после смерти её отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Ещё три сестры её метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И, как это бывает, связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж её, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.

И вот он зачастил к нам, пришёл раз, ещё раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хотя и пригорбленный больною поясницей, но всё ещё статный, старше шестидесяти, сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью.

Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта всё равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать брёвна дома. А для Матрёны было это — конец её жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что её дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблёскивали. Несмотря что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал её по рёбрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекали временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и всё показывало, что ломатели — не строители и не предполагают, чтобы Матрёне ещё долго пришлось здесь жить.

А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахара, Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутылки самогонщику.

Вынесены и соштабелёваны были брёвна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась метель — *дуель*, по-матрёнину. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошёл грузовик-другой — внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по всё голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница. Эти две недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры её, все дружно обругали её душой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть её больше не хотят, — и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора — и пропала. Одно к одному. Ещё и это пришибло Матрёну.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом (такие ещё стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), — и усмехнулась застенчиво:

— Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю — сложу свой стан, ведь цел у меня — и снимешь тогда. Ей-богу правда!

Видно, привлекало её изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены брёвнами, но многое ещё не поместилось — и семья деда Фаддея, и приглашённые помогать кончали сбивать ещё одни сани, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шёл о том, как везти сани — порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезёт сани вместе. Расчёт его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь — по двадцать пять километров да один раз назад — он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увёл его тайком для левой.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу — и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани подцепили за крепкими первыми.

Матрёна бегала среди мужчин, суежилась и помогала накатывать брёвна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измала рукава о льдистую грязь брёвен, — и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжёлые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну.

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! — озадачилась она. — Ведь я её бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. — И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухню. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутылка, голоса становились всё громче, похвальба — задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжёлый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго — темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и ещё племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тётку Матрёну, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушёл. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

— И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог — другой подтянул. А теперь чего будет — Богу весть!..

И убежала за всеми.

После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.

Прошёл час, другой. И третий. Матрёна не возвращалась, но и я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И ещё прошёл час. И ещё. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина — оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приёмник мой молчал, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: всё нахальней, всё шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Ещё были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже

не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завёртку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели — железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

— Где хозяйка?

— Не знаю.

— А трактор с санями из этого двора уезжал?

— Из этого.

— Они пили тут перед отъездом?

Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

— Да что случилось?

— Отвечайте, что вас спрашивают!

— Но...

— Поехали пьяные?

— Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину Матрёне могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил её собою.

— Право, не заметил. Не видно было.

(Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провёл рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадами; толпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один:

— Разворотило их всех. Не соберёшь.

А другой добавил:

— Да это что! Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошёл, вот было бы.

И они быстро ушли.

Кого — их? Кого — всех? Матрёна-то где?..

Я вернулся в избу, отвёл полог и прошёл в кухню. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище — сгруженных

табуреток и скамьи, пустых лежащих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селёдки, лука и раскромсанного сала.

Всё было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы.

Я кинулся всё убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в тёмное подполье подальше.

И лишь когда я всё это сделал, я встал пнём посреди пустой избы: что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?.. Может, надо было всё это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

— Матрёна Васильевна!

В избу, пошатываясь, вошла её подруга Маша:

— Матрёна-то... Матрёна-то наша, Игнатич...

Я усадил её, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде — горка, въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали — Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые — за вторыми вернулись, трос ладили — тракторист и сын Фаддея хромым, и туда же, меж трактором и санями понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то её чуть в озере не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? — отдала горницу, и весь её долг, рассчиталась... Машинист всё смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрязнул, его б фонари далеко видать, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных — без огней и задом. Почему без огней — неведомо, а когда паровоз задом идёт — машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели — и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба набок.

— Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

— Да трактор-то заведённый орёт.

— А с трупами что?

— Не пускают. Оцепили.

— А что я про скорый слышал... будто скорый?..

— А скорый десятичасовой — нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули — машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши, —

и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затают свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а зайку на верёвочке ведут... А муж Киркин — ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тётя погибла и брат. Сейчас пошёл сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрёна-Матрёнушка!..

Нет Матрёны. Убит родной человек. И в день последний я укорил её за телогрейку.

Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно улыбалась.

Тётя Маша ещё посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти. И вдруг спросила:

— Игнатич! Ты помнишь... вязаночка серая была у Матрёны... Она ведь её после смерти прочила Таньке моей, верно?

И с надеждой смотрела на меня в полутьме — неужели я забыл?

Но я помнил:

— Прочила, верно.

— Так слушай, может, разреши я её заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.

И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня — её полувековая подруга, единственная, кто искренно любил Матрёну в этой деревне...

Наверно, так надо было.

— Конечно... Берите... — подтвердил я.

Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...

Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходёном, и почти зримыми волнами перекатывались зелёные обои над мышинными спинами.

Идти мне было некуда. Ещё придут сами ко мне, допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.

Запереться, потому что Матрёна не придёт.

Я лёг, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и всё бегали, бегали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрёна невидимо металась и прощлась тут, с избой своей.

И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе чёрного молодого Фаддея с занесённым топором:

«Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»

Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...

3

На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — всё, что осталось от Матрёны. Скинули мешок, чтоб обмывать. Всё было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:

— Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...

И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое Матрёнино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.

А в гробу лежала Матрёна. Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, — а лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое.

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, — все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навтыжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно-продуманный, искони-заведённый порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач ещё с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие. И над гробом плакали так:

— Ах, нянька-нянька! Ах, лелька-лелька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты её ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-то вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня — Матрёнины золовки, сёстры Ефима и Фаддея, и ещё племянницы разные приходили и плакали так:

— Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь *они* на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла — не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выспирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим!)

Но широколицая грубая «вторая» Матрёна — та подставная Матрёна, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имечку, — сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:

— Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох-ма!.. Да бывалоча мы всё с тобой говорили и говорили! И прости ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к своей матушке, а, наверно, ты за мной заедешь! Ох-ма-а-а!..

На этом «ох-ма-а-а» она словно выпускала весь дух свой — и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач её переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили:

— Отстань! Отстань!

Матрёна отставала, но потом приходила вновь и рыдала ещё неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положив Матрёне руку на плечо, сказала строго:

— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.

И смолкла Матрёна тотчас, и все смолкли до полной тишины.

Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе, погода некоторое время тоже плакала:

— Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, *надоело* мне вас провожать!

И совсем уже не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матрёнина приёмная дочь — та Кира из Черустей, для которой ломали и везли эту горницу. Её завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью залиты,

были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе её платок, или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приёмной матери в одном доме к гробу брата в другом, — и ещё опасались за разум её, потому что должны были мужа судить.

Выступало так, что муж её был виновен вдвойне: он не только вёз горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила неохраняемых переездов — и должен был сходить на станцию, предупредить о тракторе. В ту ночь в уральском скором тысяча жизней людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.

Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились её ломать.

Впрочем, тракторист уже ушёл от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что паровозная сплотка¹ шла без фонарей. Потому-то они сперва всё старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд.

Рельсы и полотно так искорёжило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли — их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на переезде днём и ночью шёл ремонт пути. Ремонтники мёрзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок и брёвен со вторых саней, рассыпанных близ переезда.

А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали.

И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые ещё можно было выхватывать из огня — именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачён тяжёлой думой, но дума эта была — спасти брёвна горницы от огня и от козней Матрёниных сестёр.

Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

¹ *Сплотка* (от слов *сплотить*, *сплачивать*) — ряд соединённых друг с другом предметов; например, досок, брёвен, леса, плотов, локомотивов, паровозов, тепловозов, электровозов и пр.

Что *добром* нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

Фаддей, не присаживаясь, метался то на посёлок, то на станцию, от начальства к начальству, и с неразгибающейся спиной, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.

И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших сыновей, зятей и племянников, и достал лошадей в колхозе — и с того бока развороченного переезда, кружным путём через три деревни, обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.

А в воскресенье днём — хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни, родственники поспорили, какой гроб вперёд. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тётю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприятная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тальново навстречу.

До околицы народ шёл медленно и пел хором. Потом — отстал.

Ещё под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала Псалтырь, Матрёнины сёстры сновали у русской печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскалённых торфин — от тех, которые носила Матрёна в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки.

В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, золовкин муж, прочёл «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски — медовой сыты. Её, на помин души, мы выхлебали ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживлённее. Перед киселём встали все и пели «Вечную память» (так и объяснили мне, что поют её — перед киселём обязательно). Опять пили. И говорили ещё громче, совсем уже не о Матрёне. Золовкин муж расхвастался:

— А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю. А иначе б — со святыми помощи, вокруг ноги — и всё.

Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойно есть». И опять, с тройным повтором: вечная память! вечная память!



Изба М. В. Захаровой. *Фотография.* 1956 г.

вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства.

Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрёны, и золовкин муж, бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из Матрёниных сестёр:

— Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят — всё равно б я вернулся!

Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перебрался у матери в подполье.

Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе на неприлично-оживлённую пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодёжь.

И только несчастная приёмная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала.

Фаддей не пришёл на поминки Матрёны — потому ли, что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с Матрёниными сёстрами и с сапожником-дезертиром.

Спор шёл об избе: кому она — сестре или приёмной дочери. Уж дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудив, что суд от-

даст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу сапожник с женою, а в зачёт Фаддеевой доли, что он «здесь каждое брёвнышко своими руками перенячил», пошла уже свезённая горница, и ещё уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор, между двором и огородом.

И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они разбирали сарай и забор, и он сам возил брёвна на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «Г», который здесь не ленился.

Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалёку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне умершую.

— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться *культурно*, а она — кое-как, всё по-деревенски. А одново¹ мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завёл, к Матрёне и возвращаться не хотел.

Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не

¹ Одново — единожды, один раз.

скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша.

В творческой лаборатории А. И. Солженицына

...Россия Солженицына — это его родной юго-восток, Западный фронт во время войны и Северная Сибирь. Центральная Россия для него — мифическая колыбель нации; это Россия, о которой мечтает Олег Костоготов, которую с сыновним почтением открывает рассказчик в «Матрённом дворе», Средняя Россия, умиротворяющий пейзаж, в котором церкви, «царевны белые и красные», избегают на пригорки, «поднимаясь над соломенной и тёсовой повседневностью». Но эта нутряная Россия — осквернённое царство: церкви превращены в лесопилы, сияющие колокольни выпотрошены. Крохотки воспевают эту Россию-мать, как былины воспевают Китеж, проглоченный водами город. Восхищаясь озером Сегден, Солженицын пишет:

«Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли».

Но озеро захвачено «лютым князем» — местною важной шишкой — и его «злодентами». Так Солженицын приходит к старой теме России, пленённой драконом; тему эту уже использовали символисты, а после них Пастернак в «Докторе Живаго». Итак, она недоступна, недостижима, эта срединная Россия, разом и пленница и миф, Россия лесная, которую символизирует Агния в «Круге первом», которую он никогда не упускает из виду в сердце, и память сердца привязывает всё его творчество к изначальной стихии — к матери-лесу. Но театром действий мифическая Россия не будет. <...> Солженицын считает потерянным лад языка, его музыкальный строй. Этот музыкальный строй нашёл прибежище в народе, и Игнатич наслаждается распевной речью старой Матрёны, просторечными превосходными степенями, унаследованным от былин синтаксисом, образами, восходящими к деревенскому космосу.

Рассказчик Игнатич мечтает о мирном уголке «в самой нутряной России». Выбирая себе пристанище, он руководится именами деревень, потому что в старину названия «не лгали»: у деревень, как и у людей, были прозвища, открывавшие душу. Потом их заменили варварскими кличками вроде «Торфопродукт»: «Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!» Как сохраняется в Тальнове патриархальная взаимопомощь (следы «мира»), так и Матрёна в своей жизни, полной хлопот, хранит в неприкосновенности

образную, уснащённую пословицами и поговорками речь рязанских крестьян. (Диалектизмы Ивана Денисовича — тоже рязанские.) Вся современная техническая лексика «сдвинута» юмором народной этимологии, как у героев Лескова или Ремизова. Матрёна тотчас различает фальшь в словах. «Ладу не нашего. И голосом балует», — говорит она, слушая певца по радио, но умеет мигом различить «истинную» мелодию, когда передают романсы Глинки. Календарь её — это старинный церковный календарь с двенадцатыми праздниками и Пасхой, со множеством святых. Весь её синтаксис строится на анаколуфах¹, на эллиптических конструкциях², речь её сжата, сильна, энергична. Когда Матрёна гибнет, дом наполняется «плакальщицами» на старинный манер, и мы слышим три типа «плачей»: надгробный плач в собственном смысле, «обвинительные плачи против мужниной родни» и ответы на обвинения.

Некоторые произведения Солженицына построены как сказы, в той или иной мере скрытые. В «Матрёнинном дворе» это вполне очевидно: рассказчик Игнатич — двойник автора. <...>

Действие «Матрёнина двора» происходит в 1956 году. Как и Иван Денисович, Матрёна говорит распевно, по-рязански. Бывший зэк, а ныне школьный учитель и его квартирохозяйка, немногословная, улыбчивая, бескорыстная, сразу находят общий язык; в основании этого согласия — взаимное уважение и молчание. Жаждающий обрести приют в каком-нибудь мирном уголке России, Игнатич, рассказчик, разделяет скудость жизни и внутренний мир Матрёны. Здесь всё «правда» — от колченогой кошки до пожелтевших плакатов. Но «связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение». У Матрёны, «русской женщины» (вспомним Некрасова!), двойное призвание: она образец скромности, воздержанности, и Солженицын видит в ней истинный смысл русской жизни, но вместе с тем она таит в себе трагедию.

Трагично её прошлое, исковерканное скотской грубостью мужчин.

Трагичен её конец: жадный деверь, который вырвал у неё «горницу, стоявшую без дела» и сделался, таким образом, косвенной причиной её бессмысленной смерти на железнодорожном переезде, — это само вечное буйство, эгоизм, хищность, которые обезображивают Россию и рушат «связи и смысл» Матрёниной жизни. Солженицын сделал эту притчу-репортаж из подлинного происшествия, которому был свидетелем и потому пережил его с особенной

¹ *Анаколу́ф* — синтаксическая несогласованность членов предложения, не замеченная автором или допущенная умышленно для придания фразе характерной остроты.

² *Эллипти́ческая конст­рукция (эллипсис)* — пропуск во фразе какого-нибудь слова, которое, однако, легко подразумевается.

остротой. Измождённое лицо хозяйки стало одним из тех «узлов» русской судьбы, которые он так страстно искал. Невозможно перевести все областные, крестьянские словечки и обороты этого репортажа, но даже в переводе читатель живо ощущает удивительную подлинность рассказа. Солженицын обращается к жанру очерка — тому же самому, которым воспользовался Тургенев в «Записках охотника».

Словно бы сама жизнь подарила безвестному Игнатичу, укрывшемуся в дальнем уголке русского пейзажа, этот образ русской судьбы, эту Матрёну, бедную «благами», но прямо восходящую к Блаженствам Нагорной проповеди. <...> Отвечая на вопрос, кто из русских авторов ему всего ближе в плане литературного мастерства, Солженицын назвал поэтессу Марину Цветаеву и прозаика Евгения Замiatина. Если близость Солженицына к этим двум писателям — прежде всего языкового порядка (стремление к синтаксической сгущённости, родственной речи народа, «древнерусские неологизмы», поиски предельно энергичного слова), то она коренится, конечно, в их общем интересе к народному творчеству.

По книге французского критика Жоржа Нива «Солженицын»



Размышляем о прочитанном

1. Благодаря каким книгам русская литература и русский язык предстали перед А. И. Солженицыным в совершенно ином свете?
2. Какое произведение принесло писателю славу и мировую известность? Что поразило всех в этом произведении?
3. О чём рассказало читателям «художественное исследование» — «Архипелаг ГУЛАГ»?
4. Какие произведения Солженицына прочитаны вами?
5. Какую награду получил писатель от Русской православной церкви?
- 6★. Каково было первоначальное название рассказа «Матрёнин двор»? Подумайте, почему автор изменил название.
7. Какова Россия А. И. Солженицына? Как раскрывается она в начале рассказа «Матрёнин двор»?
8. Какую речь сохраняет Матрёна? Как улавливает фальшь в словах?
- 9★. На сказ или на очерк похоже произведение Солженицына «Матрёнин двор»? Какие сказки и очерки других писателей знакомы вам?
- 10★. Как в портретах героев солженицынских произведений просвечивает «басенный животный мир», юмор русских народных сказок и былин?
11. **Публичное выступление.** В чём трагизм жизни и судьбы Матрёны? Почему писатель называет главную героиню праведницей? Чем заинтересовал вас этот рассказ? Подготовьте сообщение на эту тему.



Развиваем дар слова

1. Издан сокращённый вариант художественного исследования А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Знакомы ли вы с этим изданием? Чем оно важно для современного читателя? Дайте развёрнутый устный ответ на этот вопрос.
2. Объясните следующие слова и словосочетания и введите их в свой рассказ о писателе: *зажиточная крестьянская семья, пора нравственного и гражданского самосознания, противоречия советского строя, лагерно-ссылный период, человеческое достоинство, жуткие условия лагерной жизни, нравственное начало, публикации.*



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Матрёнин двор». (Отрывок)

1. Что вы можете сказать о тональности, эмоциональной окрашенности повествования о Матрёне, её нерадостной жизни, трагической смерти, её отношении к людям и отношении людей к ней?
2. Почему рассказчик выделяет Матрёну среди других обитателей деревни? Какие чувства звучат в голосе актёра, когда он читает воспоминания рассказчика о Матрёне, и как эти чувства меняются, когда речь идёт о её сёстрах, золовках, племянниках?
3. Как в тексте рассказа выражается авторское отношение ко всей компании «бешено работающих» людей, взявшихся разобрать и увезти горницу? Какими средствами художественного чтения актёр доносит до слушателя авторское отношение к этим людям?
4. Насколько убедительно актёру удалось передать авторское отношение к плачам у гроба Матрёны?



Развиваем дар слова

Напишите развёрнутый отзыв на прослушанную звукозапись «Матрёнина двора», обратив внимание на мастерство актёра, выбор музыкального сопровождения, сравните эту запись с записями других прозаических произведений русских писателей, включённых в фонохрестоматию.



Внеклассное чтение

А. И. Солженицын. «Крохотки».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОЗАИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА



Евгений Иванович НОСОВ

1925—2002

Евгений Иванович Носов принадлежит к поколению, которое пришло в литературу, опалённое огнём войны.

И. Баскевич

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Я родился студёным январским вечером 1925 года в тускло освещённой избе своего деда. Село Толмачёво раскинулось вдоль речки Сейм, в водах которой по вечерам отражались огни недалёкого города Курска, высоко вознёсшегося своими холмами и соборами. Курск знаменит ещё с давних веков. «А мои куряне — хоробрые воины, — говаривал Всеволод своему брату князю Игорю в эпической поэме „Слово о полку Игореве“, — под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены». Далее по реке Сейм стоят древние города-содруги Рыльск и Путивль. Все они старше Москвы...

А из другого деревенского окна виделись мне просторный луг, весной заливаемый половодьем, и таинственный лес за ним, и ещё более далёкие паровозные дымы за лесом, всегда манившие меня в дорогу, которой и оказалась потом литература — главная стезя моей жизни.

За исключением Октябрьской революции, Гражданской войны и первых послевоенных лет разрухи, на моих глазах проходили все остальные этапы нашей истории. Детство всегда впечатлительно, и я до сих пор отчётливо помню, как в Толмачёво нагрянула коллективизация, как шумели сходки, горюнились забегавшие к нам бабы-соседки и как всё ходил и ходил по двору озабоченный дед, заглядывал то в амбар, то в стойло к лошади, которую вскоре

Проверьте себя

Что питало «писательское вдохновение» и что являлось «неизменной темой» писателя Е. И. Носова? Расскажите об этом.

Творческое задание

Используя материалы автобиографии Е. И. Носова и словаря «Русские писатели. XX век», подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве писателя.

Кукла¹

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, заилило, забило песком последние сеймские омута. Вот, говорят, раньше реки были глубже... Зачем же далеко в историю забираться? В не так далёкое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуны, была одна заветная яма. В этом месте река, упёршись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норомом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратнотруговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепы, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжело обрушится подмытый берег или полоснёт по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матёрый хозяин-сом.

Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирает золотистый корд из обрезка приводного ремня — замышлял перемёт. И всё сокрушался: нет у него подходящих крючков.

Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из воронёной двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрёл просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами, повертел перед очками и насмешливо посмотрел на меня, сощутив один глаз:

¹ В первых публикациях рассказ назывался «Акимыч», в более поздних — «Кукла».

Проверьте себя

Что питало «писательское вдохновение» и что являлось «неизменной темой» писателя Е. И. Носова? Расскажите об этом.

Творческое задание

Используя материалы автобиографии Е. И. Носова и словаря «Русские писатели. XX век», подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве писателя.

Кукла¹

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, заилило, забило песком последние сеймские омута. Вот, говорят, раньше реки были глубже... Зачем же далеко в историю забираться? В не так далёкое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуны, была одна заветная яма. В этом месте река, упёршись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким нором, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратнокруговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепы, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и днём и ночью урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжело обрушится подмытый берег или полоснёт по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матёрый хозяин-сом.

Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирает золотистый корд из обрезка приводного ремня — замышлял перемёт. И всё сокрушался: нет у него подходящих крючков.

Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из воронёной двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрёл просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами, повертел перед очками и насмешливо посмотрел на меня, сощутив один глаз:

¹ В первых публикациях рассказ назывался «Акимыч», в более поздних — «Кукла».

— А я думал, и вправду крюк. Придётся в кузне заказывать. А эти убери со смеху.

Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось, наконец, проведать старые свои сижы.

Поехал и не узнал реки.

Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жёстким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буравили речную гладь литые, забронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы никак не могут попасть лесой в колечко — такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов... Ныне всё это язевое приволье ошетинилось кугой¹ и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прёт чёрная донная тина, раздобревшая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей.

«Ну уж, — думаю, — с Липиной ямой ничего не случилось. Что может статься с такой пучиной!» Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину, и на том меляке — старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомёк глупому, что ещё недавно под ним было шесть-семь метров чёрной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой.

Глядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмирившей водицей, Акимыч горестно отмахнулся:

— И даже удочек не разматывай! Не трави душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!

Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его старый речной перевоз...

На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце.

¹ *Кугá* (или *осока*) — болотное растение.

Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он — в Углич.

Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.

«Уж не помер ли?» — нехорошо сжалось во мне, когда я набрёл на обгорелые останки Акимычева шалаша.

Ан нет! Прошлой осенью иду по селу, мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зелёный взгорок над Сеймом, гляжу, а навстречу — Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече — лопата.

— Здорово, друг сердечный! — раскинул я руки, преграждая ему путь.

Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.

— Ты куда пропал-то?! Не видно на реке.

Акимыч вытянул губы трубочкой, силясь что-то сказать.

— Гляжу, шалаш твой сожгли.

Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.

— Так ты где сейчас, не пойму?

Всё ещё не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.

— Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?

— А-а? — вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.

Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было ещё солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звёздочки цикория и ещё шарят по запоздалым шапкам татарника чёрно-бархатные шмели. А воздух уже остёр и крепок и дали ясны и открыты до беспредельности.



«Кукла». Художник И. Пчелко

Прямо от школьной ограды, вернее, от проходящей мимо неё дороги, начиналась речная луговина, ещё по-летнему зелёная, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив луг был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землёй и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть, на спортивной площадке, раздавались хлёсткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия.

Всё это время Акимыч шёл впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил:

— Вот, гляди...

В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и всё ещё миловидная лицом, с лёгкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожжённая, должно быть, сигаретой. <...>

— Это чья же работа?

— Кто ж их знает... — не сразу ответил Акимыч, всё ещё сокрушённо глядя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. — Нынче трудно на кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там — под забором ли, в мусорной куче — выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает, — без головы или без обеих ног... Так мне нехорошо видеть это! Аж сердце комом сожмётся... Может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагляделся я человечины... Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитя не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги — не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо — каждый по своим делам, — и ничего... Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках — бровью не поведут. Детишки бегают — привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром — в школу, вечером — из школы. А главное — учителя: они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю. Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх!..

Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное.

Я уже знал, что Акимыча опять «заклинило» и заговорит он теперь нескоро.

Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновьи уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой её продолговатые контуры. Ростом кукла была не

более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он всё так же молча и отрешённо сходил к стожку на выгоне, принёс охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил её руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл её остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату.

И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью:

— Всего не закопать...



Размышляем о прочитанном

1. С какой целью автор так подробно рассказывает о реке, о рыбалке, цветах, травах? Что ужасает его, о каких бедах он говорит в начале повествования?
2. Этот рассказ был сначала назван «Акимыч», затем «Кукла». Как вы думаете, какое название лучше? Почему таким страшным показалось герою отношение взрослых и детей к куклам? Почему автор постоянно вспоминает о военном времени и есть ли тут связь с событиями, возмущившими Акимыча?
3. Сравните рассказ Е. Носова «Кукла» и стихотворение К. Случевского. Какое произведение (стихотворение или рассказ) оказало на вас более сильное впечатление? Почему?

Кукла

Куклу бросил ребёнок. Кукла быстро свалилась,
Стукнулась глухо о землю и навзничь упала...
Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала
Скорбной фигуркой своей, так покорно сломилась,
Руки раскинула, ясные очи закрыла...
На человека ты, кукла, вполне походила!



Творческое задание

Как вы воспринимаете красоту окружающего вас мира? Может ли вас взволновать цветок, красота осеннего леса? Делаете ли вы что-либо, чтобы природа вашего города, села стала краше? Подготовьте развёрнутый ответ на этот вопрос.



**Андрей Валентинович
ЖВАЛЕВСКИЙ**

(род. в 1967 г.)

**Евгения Борисовна
ПАСТЕРНАК**

(род. в 1972 г.)

С фантастической повестью современных писателей Андрея Жвалевого и Евгении Пастернак «Время всегда хорошее» вы познакомились в 6 классе. На первый взгляд их рассказ «Неудачница», который предлагается вам в учебнике 8 класса, совсем не похож по содержанию на произведение писателя-фронтовика Е. И. Носова «Кукла», прочитанное на предыдущих уроках. Но это на первый взгляд. Е. И. Носов в конце прошлого столетия с болью говорил о часто встречающейся, эмоциональной глухости, равнодушии людей, неумении видеть, ценить красоту в природе, охранять её, если это потребуется. А. Жвалецкий и Е. Пастернак пишут о подростках нашего времени, ваших сверстниках, но их тоже волнует нечуткость, внешняя неглубокая, непрочувствованная эмоциональная реакция подростков на происходящие события, на состояния природы, отношения людей. Авторы привлекают внимание читателей к всё чаще встречающимся в нашей жизни «эмоциональным манекенам», предлагая задуматься над тем, в чём причина возникновения и развития такого явления у современных подростков.

Ваши ровесники, подростки, вышедшие из детства и стоящие на пороге юности, часто были героями произведений русской классической литературы. Таковы Николенька Иртенев из трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность» Л. Н. Толстого, Алёша Пешков из автобиографической трилогии М. Горького, Витя Потылицын из рассказов В. П. Астафьева, герой рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского».

Читая названные произведения, вы отмечали сходство и различия в характерах, поведении, чувствах юных героев, живших в разное время.

Что отличает подростков начала XXI века от их ровесников предыдущих эпох? Об этом размышляют многие современные писатели.

К таким писателям относятся Андрей Жвалеvский и Евгения Пастернак, живущие в Беларуси, но пишущие свои произведения на русском языке. Их книги «Правдивая история Деда Мороза», «Время всегда хорошее», «Гимназия № 13», «Шекспиру и не снилось» популярны у современных школьников. Писатели удостоены многих российских литературных премий в области детской и юношеской литературы: «Алые паруса», «Заветная мечта» и других.

Предлагаем вам прочитать рассказ А. В. Жвалеvского и Е. Б. Пастернак «Неудачница» из книги «Шекспиру и не снилось».

Неудачница

Безумный день. В череде такой же безумной недели.

Каждый день до четырёх в школе — факультатив по математике, — а потом на тренировку, и там пахота на два с половиной часа. Домой я приходила только в восемь, и не очень живая. Хорошо ещё, уроки мне официально разрешили не делать!

Как всегда, всё сбежалось в один день — районная олимпиада по математике и первенство города по бальным танцам! Повезло, что по времени они разошлись — олимпиада начинается в 9 утра, а конкурс в 4 часа дня. Между ними я даже успею перекусить и спокойно сделать причёску.

Утром раскачиваться некогда. У всех выходной, родители спят, а я уже вскочила и побежала. Мы всегда встречаемся у школы. Заранее. Вся олимпиадная команда.

По дороге, в автобусе, Валентина Владимировна нам ещё раз пыталась вложить в уши задачи, которые могут встретиться, и способы их решения. Я честно старалась слушать и вникать, хоть и понимала, что в мозг уже ничего не лезет.

Валентина немедленно принялась спускать меня с небес на землю:

— Ира, соберись! Тебе нужно выйти на город, у тебя есть все шансы для этого! Ты просто обязана всё решить!

— Да, я знаю, я постараюсь, — бодро отрапортовала я и улыбнулась.

Математичка одобрительно кивнула.

— Вот, берите пример с Ирины, — сказала она всем. — Она у нас молодец.

На входе в аудиторию я ещё раз улыбнулась. Всеми зубами. Как модель на картинке.



«Неудачница». Художник О. Попович

Я всё решу. Я должна. У меня нет выбора.

Задачи попались не самые сложные, могло быть хуже. Две я точно знала как решать, две предполагала... А одна... Я билась над ней почти два часа, в конце концов забрезжил лучик надежды... Кажется, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и я пойму, в чём тут заковыка... Но время поджимало, последние полчаса нас всего трое сидело в огромной аудитории. Все остальные давно ушли. Кто всё решил, кто отчаялся решить хоть что-то. Скучающий педагог смотрел на нас почти с ненавистью, у него на лице большими буквами было написано, как он хочет домой и как его достали эти сумасшедшие школьники, которые в субботу вместо того, чтоб гулять, решают олимпиады.

Всё. Тупик. Луч надежды погас. Я поняла, что не решу пятую задачу.

Вышла из аудитории как зомби. Выдохнула с облегчением от того, что под дверью нет Валентины... Зынь!

О, нет! Зачем я включила телефон! Секунду поколебалась, но всё-таки взяла трубку.

— Да, Валентина Владимировна. Да. Нормально. Я решила четыре задачи.

— Что?? — От резкого крика я чуть не выронила телефон. — Как четыре?! Вот уж не ожидала от тебя, Ирина! Это же районная олимпиада, тебе же такое раз плюнуть! Ну, знаешь, если ты не выйдешь на город, я просто не стану с тобой разговаривать!

Я стояла посреди коридора незнакомой школы и смотрела в окно. Шёл снег. Красивый такой, пушистый...

— Что ты молчишь, а? — рявкнуло в телефоне.

— Извините, Валентина Владимировна, я постараюсь на городе...

— Туда ещё попасть надо, — отрезала учительница. — Между прочим, в 205-й школе дети не штаны на уроках просиживают, а пашут. И конкурентов там о-го-го.

Я вздохнула. Уже лет десять наша школа бодается с 205-й за лидерство в районе. За каждый олимпиадный диплом убиваются. Если они нас обойдут в этом году, Валентина мне этого не простит.

— Извините, — ещё раз сказала я. Я просто не знала, что ещё можно сказать.

— Ладно, посмотрим, может, что-то удастся сделать, — буркнула Валентина и отключилась.

Я ещё буквально секунду полюбовалась на снег и тряхнула головой. Час дня. Расслабляться нельзя. Сегодня первенство города, я должна быть в форме.

На обед только суп, переждать нельзя. Волосы уложены в причёску, голова твёрдая от лака и геля. На себя вылит полфлакона дезодоранта, платья отглажены, туфли, шпильки, колготки... Чуть не забыла стартовую книжку! Всё, теперь сумка собрана, можно идти.

Мама подбросила меня до здания, где будет конкурс, помахала рукой и уехала на работу. Ну и хорошо, одной проще.

Артём уже ждал меня на регистрации. Рядом стоял Саныч (Александр Александрович) — наш тренер, и нервно переминался с ноги на ногу. Судя по стеклянным глазам партнёра, шла усердная промывка мозгов.

— И запомните, вы просто обязаны выйти на пьедестал! — вещал Саныч, нервно оглядываясь по сторонам. — Для нашего клуба это вопрос престижа. Если не вы, то кто... Короче, на вас вся надежда!

Артём кивнул. Я улыбнулась в 32 зуба.

— О! Ирина — молоток! — просиял Саныч и убежал в судейскую. А мы пошли на разминку.

На разминке мы внимательно рассматривали тех, кто тусовался на паркете. Пар зарегистрировалось просто валом. Значит, начнём, в лучшем случае, с одной четвёртой финала.

— Силы бережём, — сказал Артём, когда я, задумавшись, врубила джайв на полную катушку.

Артём вообще со мной редко разговаривает. Он такой... Как сфинкс. Эмоций почти нет. Иногда мне кажется, что я танцую с манекеном. С эмоциональным манекеном.

Четверть финала мы прошли легко. Тут главное не выкладываться полностью и танцевать очень аккуратно. Чтоб к технике было не придраться.

Полуфинал прошёл напряжённее. Умом я понимала, что мы должны пройти в следующий тур, но расслабляться было страшно. Выложилась, как смогла. Саныч со своего судейского места смотрел одобрительно. Артём, как всегда, сурово молчал.

Не улыбнулся, даже когда вывесили финальные списки и он нашёл там номер нашей пары. Сказал:

— Мы прошли.

Буднично так. Как будто ничего особенного не случилось.

Финал. Это всегда испытание. Испытание нервов и сил. Я сильная, я знаю. Я могу забыть о том, что устала, могу забыть о том, что надо дышать, я могу просто танцевать, пока не стихнет музыка. Потом оно всё наваливается, но это уже потом, когда ушла с паркета. Европейскую программу мы нормально станцевали, а перед латиной на меня накатило. А вдруг я опять дам слабинку? Вдруг, как с той задачей, в последний момент что-нибудь сорвётся?

Я вышла на паркет. Я улыбалась. Улыбалась так, что болели губы. Я танцевала, танцевала, танцевала... И внезапно поняла, как нужно было её решать! Я даже споткнулась от неожиданности! Только б судьи не заметили!

Награждение. Опять пытка.

— Шестое место заняла пара...

Вздых облегчения оставшихся пяти пар. Не последние. Ура!

— Пятое место...

— Четвёртое место...

Мы уже на пьедестале!!!

У меня просто гора с плеч свалилась. Я обернулась, уткнулась сначала в суровый взгляд Саныча, а потом в непроницаемое лицо Артёма.

Ок. Поняла. Рано радоваться.

— Третье место...

— Второе...

Сердце стучит в ушах, улыбка натянута до предела.

— Ирина Брылевская, Артём Белозубов, клуб «Орион»!

— Ааааа! — взревел зал.

Но я-то знаю, что они ревут не потому, что за нас радуются, а потому, что у нас за спиной обнимаются те, кто занял первое место. Сегодня их день. Их праздник...

Стоя на второй ступеньке пьедестала, я скосила глаза на Саныча. Хмурится.

Это всё потому, что на первом месте опять «Вальсовцы», наши вечные конкуренты. Вон их тренер, скачет, обнимается со всеми...

В общем, отчитал нас Саныч по полной программе. На вальсе руки завалили, на танго паузу недодержали, на ча-ча-ча что-то там Артём напортачил, в джайве я споткнулась.

— Извините, — сказал Артём и опустил голову.

— Извините, — эхом повторила я.

И сняла медаль с шеи. Внезапно она стала очень тяжёлой.

Вечером позвонила Валентина и сообщила, что у меня диплом третьей степени.

— Ты прошла на город, — сообщила она сухо, — поздравляю.

Мама пыталась расспрашивать, как прошёл день, но я только рукой махнула. Устала. Нет сил разговаривать. Пошла, свернулась калачиком на кровати и уткнулась лицом в стенку.

Слёзы стали душить изнутри, но я знала, что плакать нельзя. Это не поможет. Что же делать, если я такая... Неудачница...



Размышляем о прочитанном

1. Какое впечатление произвёл на вас монолог героини рассказа? С какими чувствами вы закончили чтение: сочувствовали ли вы Ирине, порадовались ли за её успехи или остались равнодушными к рассказу «Неудачница»?
2. Ирина называет своего партнёра по бальным танцам «эмоциональным манекеном», а нет ли у неё самой признаков внешней «манекенной» эмоциональности? Найдите в тексте подтверждение этому. Почему искренние, живые чувства прорываются у героини случайно, когда она поддаётся им «задумавшись» или «забывшись»?
3. Почему описание снега за окном («Красивый такой, пушистый...») было резко прервано?

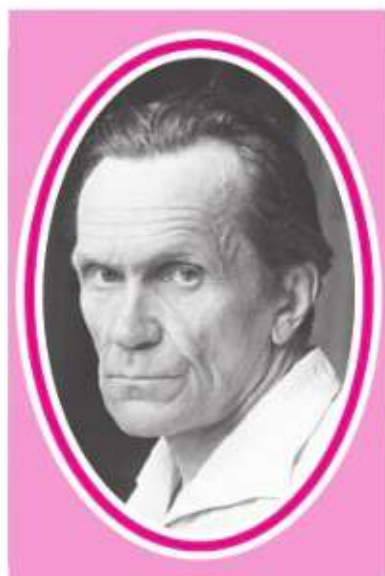
4. Почему школьница, которой целый день внушали, что она «должна», «обязана», не может рассказать маме о том, как прошёл день, что она пережила?
- 5★. Согласны ли вы с тем, что героиня рассказа «неудачница»? Или она победитель, пусть и в будущем? Что вы постарались бы исправить в сложившейся ситуации, если бы оказались на месте Ирины?



Творческое задание

Опишите один из дней, запомнившихся вам каким-либо значительным событием, не скрывая своих эмоций, какими бы они ни были — положительными или отрицательными.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЗАИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА НА ТЕМУ «ЧЕЛОВЕК В СИТУАЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА»



**Варлам Тихонович
ШАЛАМОВ**

1907—1982

Высота нравственных позиций человека или их отсутствие наиболее полно, зримо, рельефно раскрываются, когда он оказывается в экстремальных ситуациях — на войне, в стихийных бедствиях, при атаке террористов. Нравственность чаще всего становится основой, базой для свершения подвига, отсутствие её — причиной трусости, предательства, измены. Не только военная литература обращалась к проблеме нравственного выбора своего пути героями художественных произведений. Эта проблема оказалась одной из главных и в так называемой «лагерной литературе», то есть литературе о людях, оказавшихся в годы массовых репрессий в тюремном заключении, в лагерях. Одним из наиболее ярких представителей лагерной литературы стал поэт и прозаик В. Т. Шаламов.

Варлам Тихонович Шаламов родился в 1907 году в Вологде в семье священника. В 1918 году отец потерял зрение и семья оказалась в бедственном положении, без средств к существованию. Варлам Шаламов в 1923 году с отличием окончил школу, но поступить в вуз он не мог как сын священника. Для советской власти первых послереволюционных лет служители церкви были чуждой социальной прослойкой. Только в 1926 году по первому свободному конкурсу Шаламову удаётся поступить на юридический факультет Московского университета.

В студенческие годы он пишет стихи, посещает шумные поэтические вечера в Политехническом музее. Но в 1928 году он был отчислен из университета за то, что не указал при поступлении своё социальное происхождение. А вскоре был арестован за распространение критикующего Сталина «Письма к съезду» В. И. Ленина. После возвращения из заключения в 1932 году работал в московских журналах. В это время появляются первые журнальные публикации прозы молодого писателя. В 1937 году следует очередной арест. Будучи в заключении, в 1943 году получает новый срок за антисоветскую пропаганду (назвал Ивана Бунина классиком русской литературы).

В Москву Шаламов возвращается в 1953 году. Начинает активную работу над своей главной книгой, «Колымскими рассказами». О замысле и содержании книги сам Варлам Шаламов писал: «В „Колымских рассказах“ нет ничего, что не было преодолением зла, торжеством добра — если брать вопрос в большом плане, в плане искусства».

«Апостол Павел» — один из первых колымских рассказов, написанных В. Т. Шаламовым после возвращения в Москву.

Апостол Павел

Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе¹ со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба — и Фризоргер и я — были очень рады.

В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу — рабочие кадры разведки были укомплектованы только вольнонаёмными. Правда, это были вчерашние заключённые, только что отбывшие свой «термин», или срок, и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаёмных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но всё же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдёт два-три месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт получают, может быть, даже через год уедут домой.

¹ *Шурф* — углубление для отыскания или исследования полезных ископаемых.

Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», — постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключённых ему в разведку не давали, и пять человек в обслугу — это было всё, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, ещё не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред его светлые и проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощён, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска — «паровозный кочегар», как он отрекомендовался Парамонову.

— Слесарить, значит, можешь маленько, — сказал Парамонов.

— Могу, могу, — охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы в вольнонаёмной разведке.

Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвёртым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повёл себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках жёлтую стопку скоросшивателей — так называемых «личных дел».

— Это столяр, — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова.

Приём был закончен, и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел, так его запугал следователь ещё на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется — следующей ступенью

может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали ещё долго лениво отругиваться, то это делалось больше для порядка, для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчёркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актёры, играющие стариков. В лагере многие стараются (и безуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Всё это делается не всегда с сознательным расчётом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния ещё более тяжёлого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.

Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шёл вхолостую. Фризоргера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй — материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил нетвёрдо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, её основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера.

— Нет, нет, — сказал Фризоргер, смеясь, — вы не знаете, вот. — И он стал загибать пальцы. — Питер, Пауль, Маркус...

Я рассказал ему всё, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шёпот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус...» Он не спал до утра. Утром он ушёл на работу рано, а вечером пришёл поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился.

— Что с вами? — спросил я, дождавшись конца молитвы.

Фризоргер нашёл мою руку и пожал её.

— Вы правы, — сказал он. — Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про Варфоломея.

Я молчал.

— Вы удивляетесь моим слезам? — сказал он. — Это слёзы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чём не виноваты — это я сам, это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Всё будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали ещё большими друзьями.

Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

— Вот, — сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию — «моменталку».

Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на всех снимках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.

— Это моя дочь, — сказал Фризоргер торжественно. — Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть лет назад я её взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошёл Парамонов.

— Дочь, что ли? — сказал он, быстро оглядев фотографию.

— Дочь, гражданин начальник, — сказал Фризоргер, улыбаясь.

— Пишет?

— Нет.

— Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя нога?

— Хромаю, гражданин начальник.

— Ну, хромай, хромай. — Парамонов вышел.

С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улёгшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.

Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключённых Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника.

— Смотри-ка, — сказал он мне, — какое заявление на имя Фризоргера прислали.

В пакете было казённое отношение с просьбой познакомить заключённого Фризоргера (статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.

— Экая пакость, — сказал он. — Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?

Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключённого, или просто желание выполнить всё по закону? Или ещё что?

— Слушай, Ванюшка, — сказал я Рязанову. — Ты регистрировал почту?

— Где же, только сейчас пришла.

— Отдай-ка мне этот пакет. — И я рассказал Рязанову, в чём дело.

— А письмо? — сказал он неуверенно. — Она ведь напишет, наверное, и ему.

— Письмо ты тоже удержишь.

— Ну бери.

Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.

Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли в той же самой печке.

Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше — я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шёпот: «Питер, Пауль, Маркус...»



Размышляем о прочитанном

1. **Публичное выступление.** Рассказ этот про предательство, отказ от родного отца, но настроение после его прочтения остаётся светлое, хотя и печальное. Почему? Подготовьте развёрнутый устный ответ на этот вопрос.
2. «Фризоргера любила вся разведка...» Почему? Какими качествами характера он располагал окружающих людей к себе?
3. «Это слёзы стыда...». Почему пастор так горько переживал свою ошибку?
4. С какой целью Фризоргер вслух предположил, что дочь ему не пишет, потому что не знает адреса, ведь на его письмах был обратный адрес?
5. Как характеризуют рассказчика его действия после прочтения заявления дочери пастора?
6. **Работа в группе.** Можно ли считать поступок рассказчика и Рязанова нравственным, ведь они совершили обман? Обсудите ответы на этот вопрос с одноклассниками.
7. Что личное авторское, автобиографическое, сказалось в образе рассказчика в «Апостоле Павле»?



Проект

Подготовьте доклад-исследование «Евангельские мотивы в рассказе Варлама Шаламова „Апостол Павел“».



Джером Дэвид СЭЛИНДЖЕР

1919—2010

О РОМАНЕ ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»¹

Если можно было бы опросить читателей в разных странах мира, какое произведение олицетворяет для них послевоенную литературу Соединённых Штатов, то многие, а быть может, и большинство назвали бы «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера. Окружающий эту книгу ореол не меркнет с годами... «Появление произведений Сэлинджера открыло мне первого на моём веку современного писателя огромного таланта, и с тех пор это ощущение больше не повторилось при встрече с другими дебютантами», — вспоминал, выражая широко распространённое мнение, американский поэт и критик Ричард Йейтс...

В «коротком романе» «Над пропастью во ржи» (1951) герой Сэлинджера, шестнадцатилетний Холден Колфилд, мечтал о том, чтобы когда-нибудь появился наконец писатель, с которым хотелось бы связаться по телефону, посоветоваться и вообще поговорить о чём вздумается. Для американской молодёжи... таким непререкаемым авторитетом и любимым собеседником стал сам Сэлинджер.

А. С. Мулярчик

¹ Искажённая строчка из стихотворения Р. Бёрнса «Пробираясь до калитки».

Над пропастью во ржи

(Отрывок из романа)

1

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провёл свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту давид-копперфилдовскую¹ муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копать. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чёртиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему — Д. Б. — только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живёт в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезёт — может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «ягуар»². Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за неё чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слышали — это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и назывался — «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил её на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу.

¹ «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» — в значительной степени автобиографический роман английского писателя Чарльза Диккенса. Страницы, посвящённые детству и юности героя, дают настоящую картину внутреннего мира ребёнка и юноши. Диккенс обращается к миру детства. Дэвид Копперфилд видит несправедливость и борется с ней, находит друзей и союзников. Главное в характере героя — неиссякаемая вера в людей, в добро и справедливость.

² «Ягуар» («Jaguar») — марка автомобиля английской автомобильной компании «Ягуар», специализировавшейся на выпуске легковых автомобилей класса люкс и входившей в состав американской корпорации «Форд Мотор».

Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушёл из Пэнси. Пэнси — это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про неё слышали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Её печатают чуть ли не в тысяче журналов — этаким хлюст¹, верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два — и обчёлся. Да и то они такими были ещё до школы.

Словом, началось это в субботу, когда шёл футбольный матч с Сэксонн-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важнее всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трёх, я стоял чёрт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой Войны за независимость. Оттуда видно было всё поле и как обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку — собралась вся школа, кроме меня, — а на их стороне что-то вякали: у приезжей команды народу всегда маловато.

На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почёсываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разговорились. Мне она понравилась. Правда, нос у неё длинный, и ногти обкусаны до крови... но её почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе не вкручивала, какой у неё замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он трепло несусветное.

Не пошёл я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на со-

¹ Хлюст — франтоватый, самодовольный и пустой молодой человек, любящий по-красоваться.

стыжение со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и вообще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось всё время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.

И ещё я не пошёл на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь.

Да, забыл сказать — меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырём предметам и вообще не занимался, и всё такое. Меня сто раз предупреждали — старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызывали к старому Термеру, но я всё равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьёзно, очень высокая.

Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка — ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спёр моё верблюжье пальто прямо из комнаты, вместе с тёплыми перчатками — они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но всё равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше воров. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с каким-нибудь местом, мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстаюсь. А то становится ещё неприятней.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды, в октябре, втроём — я, Роберт Тичнер и Пол Кембл — гоняли мяч перед учебным корпусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы всё гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И всё-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса

и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь: тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда, — у меня по крайней мере почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы, прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе. Он жил на улице Энтони Уэйна.

Я бежал всю дорогу, до главного выхода, а потом переждал, пока не отдышался. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Впервые, я курю, как паровоз, то есть раньше курил. Тут, в санатории, заставили бросить. И ещё — я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверно, от этого я и заболел туберкулёзом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем я довольно здоровый.

Словом, как только я отдышался, я побежал через дорогу на улицу Уэйна. Дорога вся обледенела, и я чуть не грохнулся. Не знаю, зачем я бежал, наверно, просто так. Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показалось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек.

Ух, и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера! Промёрз я насквозь. Уши болели, пальцем пошевелинуть не мог. «Ну, скорей, скорей! — говорю чуть ли не вслух. — Открывайте!» Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них в обрез.

— Холден! — сказала миссис Спенсер. — Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти?

Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере, мне так казалось.

Я пулей влетел к ним в дом.

— Как вы поживаете, миссис Спенсер? — говорю. — Как здоровье мистера Спенсера?

— Дай твою куртку, милый, — говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.

Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ёжик, мне причёсываться почти не приходится.

— Как же вы живёте, миссис Спенсер? — спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услышала.

— Прекрасно, Холден. — Она закрыла шкаф в прихожей. — А ты-то как живёшь?

И я по её голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.

— Отлично, — говорю. — А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?

— Кончился? Холден, он себя ведёт как... как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.

2

У них у каждого была своя комната. Лет им было под семьдесят, а то и больше. И всё-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться — почему он ещё живёт. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе неплохо живёт. Например, один раз, в воскресенье, когда он меня и ещё нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, он нам показал потрёпанное индейское одеяло — они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чём я? Живёт себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже песок сыплется, а он всё ещё приходит в восторг от какого-то одеяла.

Дверь к нему была открыта, но я всё же постучался, просто из вежливости. Я видел его — он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.

— Кто там, — заорал он. — Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!

Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьёзно.

Только я вошёл — и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, всё пахло каплями от насморка. Тоску нагоняло. Я вообще-то не слишком люблю больных. И всё казалось ещё унылее оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потёртый, старый халат — наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их ста-

рые рёбра видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?

— Здравствуйте, сэр, — говорю. — Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. — Он мне написал записку, чтобы я к нему зашёл проститься перед каникулами; знал, что я больше не вернусь. — Вы напрасно писали, я бы всё равно зашёл попрощаться.

— Садись вон туда, мальчик, — сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.

Я сел на кровать.

— Как ваш грипп, сэр?

— Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором. — Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать, как сумасшедший. Наконец отдышался и спросил: — А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?

— Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.

Господи, ну и постель! Настоящий камень!

Он вдруг напустил на себя страшную строгость — я знал, что так будет.

— Значит, ты уходишь от нас? — спрашивает.

— Да, сэр, похоже на то.

Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймёшь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.

— А о чём с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слышал, что у вас был долгий разговор.

— Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.

— Что же он тебе сказал?

— Ну... всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Всё насчёт того же, что жизнь — это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

— Но жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо по правилам.

— Да, сэр. Знаю. Я всё это знаю.

Тоже сравнили! Хороша игра! Попадёшь в ту партию, где классные игроки, — тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если

попасть на другую сторону, где одни мазины, — какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет.

— А доктор Термер уже написал твоим родителям? — спросил старик Спенсер.

— Нет, он собирается написать им в понедельник.

— А ты сам им ничего не сообщил?

— Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.

— Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?

— Как сказать... Рассердятся, наверно, — говорю. — Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвёртой школе учусь.

И я потрянул головой. Это у меня привычка такая. «Эх!» — говорю. Это тоже привычка — говорить «Эх!» или «Ух ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. Ужасно нелепо выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И всё-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берёт, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ничего они не замечают.

Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что, кроме меня, никого тут не было. Мне-то всё равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.

Потом он заговорил:

— Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.

— Да, конечно. Они хорошие.

«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова.

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с ко-

лен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он всё равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнётся жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате — это уж слишком. Не хотелось слушать.

Тут и началось.

— Что ты с собой делаешь, мальчик? — сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал. — Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?

— Пять, сэр.

— Пять. А сколько завалил?

— Четыре. — Я поёрзал на кровати. На такой жёсткой кровати я ещё никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Беовульфа и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку ещё в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.

Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили.

— Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.

— Понимаю, сэр. Отлично понимаю. Что вам было делать?

— Совершенно ничего не учил, — повторял он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты с р а з у согласился. А он и в третий раз повторил:

— Совершенно ничего не учил! Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть. Открывал? Только говори правду, мальчик.

— Нет, я, конечно, просматривал его раза два, — говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории.

— Ах, просматривал, — сказал он очень ядовито. — Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке. Сверху, на тетрадах. Дай её сюда, пожалуйста!

Это было ужасное свинство с его стороны, но я взял свою тетрадку и подал ему, — больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту бетонную кровать. Вы себе и представить не можете, как я жалел, что зашёл к нему проститься!

Он держал мою тетрадь, как навозную лепёшку или ещё что похуже.

— Мы проходили Египет с четвёртого ноября по второе декабря, — сказал он. — Ты сам выбрал эту тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал.

— Да нет, сэр, не стоит, — говорю.

А он всё равно стал читать. Уж если преподаватель решил что-нибудь сделать, его не остановишь. Всё равно сделает по-своему.

— «Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Она, как известно, является самым большим материком в восточном полушарии».

И я должен был сидеть и слушать эту несусветную чушь. Свинство, честное слово.

— «В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука всё ещё добивается ответа на вопрос — какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не сгнивали в течение многих веков. Эта таинственная загадка всё ещё бросает вызов современной науке двадцатого века».

Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту.

— Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, — проговорил он тем же ядовитым голосом. Никогда бы не подумал, что в таком древнем старикашке столько яду. — Но ты ещё сделал внизу небольшую приписку лично мне, — добавил он.

— Да-да, помню, помню! — сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. Куда там — разве его остановишь! Из него прямо искры сыпались!

«Дорогой мистер Спенсер! — Он читал ужасно громко. — Вот всё, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя Вы читаете про них очень хорошо. Ничего, если Вы меня провалите, — я всё равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий вас Холден Колфилд».

Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прощу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если б он написал такое, я бы ни за что не прочёл, слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать.

— Ты сердишься, что я тебя провалил, мой мальчик? — спросил он.

— Что вы, сэр, ничуть! — говорю. Хоть бы он перестал называть меня «мой мальчик».

Он бросил мою тетрадку на кровать. Но, конечно, опять не попал. Пришлось мне вставать и поднимать её. Я её положил на «Атлантик мансли». Вот ещё, охота была поминутно нагибаться.

— А что бы ты сделал на моём месте? — спросил он. — Только говори правду, мой мальчик.

Да, видно, ему было здорово не по себе оттого, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем. И всё в таком роде. Словом, наворачивал как надо.

Но самое смешное, что думал-то я всё время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд, в Центральном парке, у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают?

Всё-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит. Но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает.

— Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? Интересно было бы знать. Весьма интересно.

— Это насчёт того, что меня вытурили из Пэнси? — спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно.

— Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?

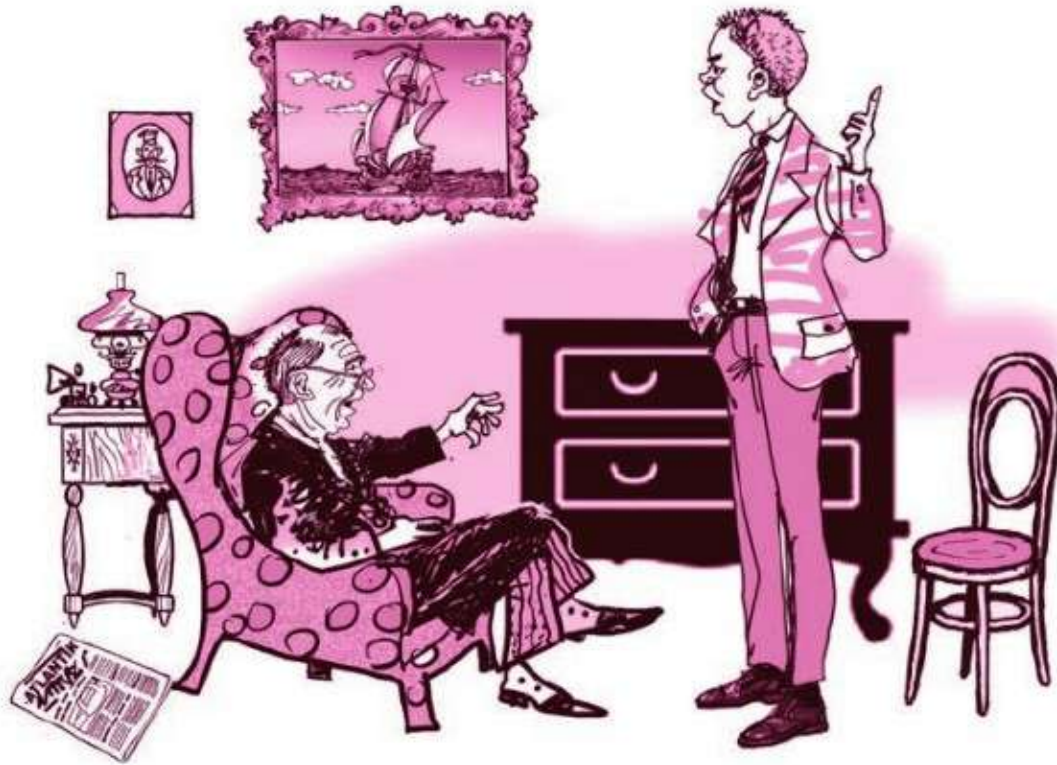
Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно.

— Никаких затруднений в Элктон-хилле у меня не было, — говорю. — Я не проваливался, ничего такого. Просто ушёл — и всё.

— Разреши спросить — почему?

— Почему? Да это длинная история, сэр. Всё это вообще довольно сложно.

Ужасно не хотелось рассказывать ему — что да как. Всё равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушёл я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Всё делалось напоказ — не продохнёшь. Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот Хаас



«Над пропастью во ржи». Художник О. Попович

ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив — просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался — у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нём старомодные, чёрные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался, а потом как начнёт разговаривать с другими родителями — полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берёт. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

Старый Спенсер меня спросил о чём-то, но я не расслышал. Я всё думал об этом подлом Хаасе.

— Что вы сказали, сэр? — говорю.

— Но ты хоть огорчён, что тебе приходится покидать Пэнси?

— Да, конечно, немножко огорчён. Конечно... но всё-таки не очень. Наверно, до меня ещё не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я всё-таки кретин!

— Неужели ты совершенно не думаешь о своём будущем, мой мальчик?

— Нет, как не думать — думаю, конечно. — Я остановился. — Только не очень часто. Не часто.

— Призадумайся! — сказал старый Спенсер. — Потом призадумайся, когда будет поздно!

Мне стало неприятно. Зачем он так говорил — будто я уже умер? Ужасно неприятно.

— Непременно подумаю, — говорю, — я подумаю.

— Как бы мне объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?

Видно было, что он действительно хотел мне помочь. По-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны — вот и всё.

— Знаю, сэр, — говорю, — и спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда!

Тут я встал с кровати. Ей-богу, я не мог бы просидеть на ней ещё десять минут даже под страхом смертной казни.

— К сожалению, мне пора! Надо забрать вещи из гимнастического зала, у меня там масса вещей, а они мне понадобятся. Ей-богу, мне пора!

Он только посмотрел на меня и опять стал качать головой, и лицо у него стало такое серьёзное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до чёртиков. Но не мог же я торчать у него весь век, да и тянули мы в разные стороны. И вечно он бросал что-нибудь на кровать и промахивался, и этот его жалкий халат, вся грудь видна, а тут ещё пахнет гриппозными лекарствами на весь дом.

— Знаете что, сэр, — говорю, — вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Всё наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает.

— Не знаю, мой мальчик, не знаю...

Ненавижу, когда так бормочут.

— Бывает, — говорю, — это со всеми бывает! Правда, сэр, не стоит вам из-за меня огорчаться. — Я даже руку ему положил на плечо. — Не стоит! — говорю.

— Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием...

— Я бы выпил, сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное спасибо.

И тут мы стали жать друг другу руки. Всё это чушь, конечно, но мне почему-то сделалось ужасно грустно.

— Я вам черкну, сэр. Берегитесь после гриппа, ладно?

— Прощай, мой мальчик.

А когда я уже закрыл дверь и вышел в столовую, он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если вдуматься.

3

Я ужасный лгун — такого вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал забирать вещи, тоже было враньё. Я и не держу ничего в этом треклятом зале.

Пока я учился в Пэнси, я жил в новом общежитии, в корпусе имени Оссенбергера. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед — из старших. Корпус был назван в честь Оссенбергера, был тут один такой, учился раньше в Пэнси. А когда закончил, заработал кучу денег на похоронных бюро. Он их понастроил по всему штату — знаете, такие похоронные бюро, через которые можно хоронить своих родственников по дешёвке — пять долларов с носа. Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера. Ручаюсь, что он просто запикивает покойников в мешок и бросает в речку. Так вот, этот тип пожертвовал на Пэнси кучу денег и наш корпус назвали в его честь. На первый матч в году он приехал в своём роскошном кадиллаке, а мы должны были вскочить на трибуны и трубить вовсю, то есть кричать ему «Ура!». А на следующее утро в капелле он отгрохал речь часов на десять. Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой бородищей, хотел показать, какой он молодчага. Сила. А потом стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или ещё чего никогда не стесняется — станет на колени и помолится Богу. И нам тоже советовал всегда молиться Богу — беседовать с ним в любое время. «Вы, — говорит, — обращайтесь ко Христу просто как к приятелю. Я сам всё время разговариваю с Христом по душам. Даже когда веду машину». Я чуть не умер. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойничков. Но тут во время его речи случилось самое замечательное. Он как раз дошёл до середины, рассказывал про себя,

какой он замечательный парень, какой ловкач, и вдруг Эдди Марсалла — он сидел как раз передо мной — пукнул на всю капеллу. Конечно, это ужасно, очень невежливо, в церкви, при всех, но очень уж смешно вышло. Молодец Марсалла! Чуть крышу не сорвал. Никто вслух не рассмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Термер, наш директор, сидел рядом с ним на кафедре, и сразу было видно, что он-то хорошо слышал. Ух, и разозлился он! Ничего нам не сказал, но вечером собрал всех на дополнительные занятия и произнёс речь. Он сказал, что ученик, который так нарушил порядок во время службы, недостоин находиться в стенах школы. Мы пробовали заставить нашего Марсаллу дать ещё один залп во время речи старика Термера, но он был не в настроении. Так вот, я жил в корпусе имени этого Оссенбергера, в новом общежитии.

Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату, тем более что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, растегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я её увидел в окне спортивного магазина, когда мы вышли из метро, где я потерял эти чёртовы рапиры. Заплатил всего доллар. Я её надевал задом наперёд — глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В комнате было два кресла. Одно — моё, другое — моего соседа, Уорда Стрэдлейтера. Ручки у кресел были совсем поломаны, потому что вечно на них кто-нибудь садился, но сами кресла были довольно удобные.

Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали «В дебрях Африки» Исака Дайнсена. Я думал, дрянь, а оказалось интересно. Хорошая книга. Вообще я очень необразованный, но читаю много. Мой любимый писатель — Д. Б., мой брат, а на втором месте — Ринг Ларднер. В день рождения брат мне подарил книжку Ринга Ларднера — это было ещё перед поступлением в Пэнси. В книжке были пьесы — ужасно смешные, а потом рассказ про полисмена-регулирующего, он влюбляется в одну очень хорошенькую девушку, которая вечно нарушает правила движения. Но полисмен женат и, конечно, не может жениться на девушке. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. Потрясающий рассказ. Вообще я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги

вроде «Возвращения на родину»¹, и всякие книги про войну, и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д. Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как «Время страстей человеческих» Сомерсета Моэма² — совсем не то. Я её прочёл прошлым летом. Книжка, в общем, ничего, но у меня нет никакого желания звонить этому Сомерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы скорее позвонил покойному Томасу Гарди. Мне нравится его Юстасия Вэй. Значит, надел я свою новую шапку, уселся в кресло и стал читать «В дебрях Африки». Один раз я её уже прочёл, но мне хотелось перечитать некоторые места. Я успел прочитать всего страницы три, как вдруг кто-то вышел из душевой. Я и не глядя понял, что это Роберт Экли — он жил в соседней комнате. В нашем крыле на каждые две комнаты была общая душевая, и этот Экли врывался ко мне раз восемьдесят на дню. Кроме того, он один из всего общежития не пошёл на футбол. Он вообще никуда не ходил. Станный был тип. Он был старшеклассник и проучился в Пэнси уже четыре года, но все его называли только по фамилии — Экли. Даже его сосед по комнате, Херб Гейл, никогда не называл его Боб или хотя бы Эк. Наверно, и жена будет называть его Экли — если только он когда-нибудь женится. Он был ужасно высокий — шесть футов четыре дюйма, страшно сутулый, и зубы гнилые. Ни разу, пока мы жили рядом, я не видал, чтобы он чистил зубы. Они были какие-то грязные, заплесневелые, а когда он в столовой набивал рот картошкой или горохом, меня чуть не тошнило. И потом — прыщи. Не только на лбу или там на подбородке, как у всех мальчишек, — у него всё лицо было прыщавое. Да и вообще он был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я не очень-то его любил.

Я чувствовал, что он стоит на пороге душевой, прямо за моим креслом, и смотрит, здесь ли Стрэдлейтер. Он ненавидел Стрэдлейтера и никогда не заходил к нам в комнату, если тот был дома. Вообще он почти всех ненавидел.

Он вышел из душевой и подошёл ко мне.

¹ «Возвращение на родину» — роман английского писателя Томаса Гарди.

² *Соммерсет Моэм* — английский писатель.

— Привет! — говорит. Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он зашёл ко мне в гости. Он делал вид, будто зашёл нечаянно.

— Привет! — говорю, но книгу не бросаю. Если при таком типе, как Экли, бросить книгу, он тебя замучает. Он всё равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать.

Он стал бродить по комнате, медленно, как всегда, и трогать все мои вещи на столе и на тумбочке. Вечно он все вещи перетрагивает, пересмотрит. До чего же он мне действовал на нервы!

— Ну, как фехтованье? — говорит. Ему непременно хотелось помешать мне читать, испортить всё удовольствие. Плевать ему было на фехтованье. — Кто победил — мы или не мы? — спрашивает.

— Никто не победил, — говорю, а сам не поднимаю головы.

— Что? — спросил он. Он всегда переспрашивал.

— Никто не победил. — Я покосился на него, посмотрел, что он там крутит на моей тумбочке. Он рассматривал фотографию девчонки, с которой я дружил в Нью-Йорке, её звали Салли Хейс. Он эту треклятую карточку, наверно, держал в руках по крайней мере пять тысяч раз. И ставил он её всегда не на то место. Нарочно — это сразу было видно.

— Никто не победил? — сказал он. — Как же так?

— Да я всё это дурацкое снаряжение забыл в метро. — Голову я так и не поднял.

— В метро? Что за чёрт! Потерял, что ли?

— Мы не на ту линию сели. Всё время приходилось вскакивать и смотреть на схему метро.

Он подошёл, заслонил мне свет.

— Слушай, — говорю, — я из-за тебя уже двадцатый раз читаю одну и ту же фразу.

Всякий, кроме Экли, понял бы намёк. Только не он.

— А тебя не заставят платить? — спрашивает.

— Не знаю и знать не хочу. Может, ты сядешь, Экли, детка, а то ты мне весь свет загородил.

Он ненавидел, когда я называл его «Экли, детка». А сам он вечно говорил, что я ещё маленький, потому что мне было шестнадцать, а ему уже восемнадцать. Он бесился, когда я называл его «детка».

А он стал и стоит. Такой это был человек — ни за что не отойдёт от света, если его просят. Потом, конечно, отойдёт, но если его попросить, он нарочно не отойдёт.

— Что ты читаешь? — спрашивает.

— Не видишь — книгу читаю.

Он перевернул книгу, посмотрел на заголовок.

— Хорошая? — спрашивает.

— Да, особенно эта фраза, которую я всё время читаю.

Я тоже иногда могу быть довольно ядовитым, если я в настроении. Но до него не дошло. Опять он стал ходить по комнате, опять стал цапать все мои вещи и даже вещи Стрэдлейтера. Наконец я бросил книгу на пол. Всё равно при Экли читать невыносимо. Просто невозможно.

Я развалился в кресле и стал смотреть, как Экли хозяйничает в моей комнате. От поездки в Нью-Йорк я порядком устал, зевота напала. Но потом начал валять дурака. Люблю иногда подурочиться просто от скуки. Я повернул шапку козырьком вперёд и надвинул на самые глаза. Я так ничего не мог видеть.

— Увы, увы! Кажется, я слепну! — говорю я сиплым голосом. — О моя дорогая матушка, как темно стало вокруг.

— Да ты спятил, ей-богу! — говорит Экли.

— Матушка, родная, дай руку своему несчастному сыну! Почему ты не подаёшь мне руку помощи?

— Да перестань ты, балда!

Я стал шарить вокруг, как слепой, не вставая. И всё время сипел:

— Матушка, матушка! Почему ты не подашь мне руку?

Конечно, я просто валял дурака. Мне от этого иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится как чёрт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил, нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле.

— Это чьё? — спросил Экли. Он взял в руки наколенник моего соседа. Этот проклятый Экли всё хватал. Он что угодно мог схватить, — шнурки от ботинок, что угодно. Я ему сказал, что наколенник — Стрэдлейтера. Он его сразу швырнул к Стрэдлейтеру на кровать; взял с тумбочки, а швырнул нарочно на кровать.

Потом подошёл, сел на ручку второго кресла. Никогда не сядет по-человечески, обязательно на ручку.

— Где ты взял эту дурацкую шапку? — спрашивает.

— В Нью-Йорке.

— Сколько отдал?

— Доллар.

— Надули тебя.

Он стал чистить свои гнусные ногти концом спички. Вечно он чистил ногти. Странная привычка. Зубы у него были заплесневелые, в ушах грязь, но ногти он вечно чистил. Наверно, считал, что он чиstopлотный. Он их чистил, а сам смотрел на мою шапку.

— В моих краях на охоту в таких ходят, понятно? В них дичь стреляют.

— Чёрта с два! — говорю. Потом снимаю шапку, смотрю на неё. Прищурил один глаз, как будто целюсь. — В ней людей стреляют, — говорю, — я в ней людей стреляю.

— А твои родные знают, что тебя вытурили?

— Нет.

— Где же твой Стрэдлейтер?

— На матче. У него там свидание. — Я опять зевнул. Зевота ододела. В комнате стояла страшная жара, меня разморило, хотелось спать. В этой школе мы либо мёрзли как собаки, либо пропадали от жары.

— Знаменитый Стрэдлейтер, — сказал Экли. — Слушай, дай мне на минутку ножницы. Они у тебя близко?

— Нет, я их уже убрал. Они в шкафу, на самом верху.

— Достань их на минутку, а? У меня ноготь задрался, надо срезать.

Ему было совершенно наплевать, убрал ли ты вещь или нет, на самом верху она или ещё где. Всё-таки я ему достал ножницы. Меня при этом чуть не убило. Только я открыл шкаф, как ракетка Стрэдлейтера — да ещё в рамке! — упала прямо мне на голову. Так грохнула, ужасно больно. Экли чуть не помер, до того он хохотал. Голос у него визгливый, тонкий. Я для него снимаю чемодан, вытаскиваю ножницы — а он заливается. Таких, как Экли, хлебом не корми — дай ему посмотреть, как человека стукнуло по голове камнем или ещё чем: он просто обхохочется.

— Оказывается, у тебя есть чувство юмора, Экли, детка, — говорю ему.

— Ты этого не знал? — Тут я ему подаю ножницы. — Хочешь, я буду твоим менеджером, устрою тебя на радио?

Я сел в кресло, а он стал стричь свои паршивые ногти.

— Может, ты их будешь стричь над столом? — говорю. — Стриги над столом, я не желаю ходить босиком по твоим гнусным ногтям. — Но он всё равно бросал их прямо на пол. Отвратительная привычка. Честное слово, противно.

— А с кем у Стрэдлейтера свидание? — спросил он. Он всегда расспрашивал, с кем Стрэдлейтер водится, хотя он его ненавидит.

— Не знаю. А тебе что?

— Просто так. Не терплю я эту сволочь. Вот уж не терплю!

— А он тебя обожает! Сказал, что ты — настоящий принц! — говорю. Я часто говорю кому-нибудь, что он — настоящий принц. Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно.

— Он всегда задирает нос, — говорит Экли. — Не выношу эту сволочь. Можно подумать, что он...

— Слушай, может быть, ты всё-таки будешь стричь ногти над столом? — говорю. — Я тебя раз пятьдесят просил...

— Задирает нос всё время, — повторил Экли. — По-моему, он просто болван. А думает, что умный. Он думает, что он самый умный...

Я посмотрел на него, потом сказал:

— Ты злишься на Стрэдлейтера за то, что он говорил, чтобы ты хоть иногда чистил зубы. Он тебя ничуть не хотел обидеть! И сказал он не нарочно, ничего обидного он не говорил. Просто он хотел сказать, что ты чувствовал бы себя лучше и выглядел бы лучше, если бы хоть изредка чистил зубы.

— А я не чищу, что ли? И ты туда же!

— Нет, не чистишь! Сколько раз я за тобой следил, не чистишь — и всё!

Я с ним говорил спокойно. Мне даже его было жаль. Я понимаю, не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы.

— Стрэдлейтер не сволочь. Он не такой уж плохой. Ты его просто не знаешь, в этом всё дело.

— А я говорю — сволочь. И воображала.

— Может, он и воображает, но в некоторых вещах он человек широкий, — говорю. — Это правда. Ты пойми. Представь себе, например, что у Стрэдлейтера есть галстук или ещё какая-нибудь вещь, которая тебе нравится. Ну, например, на нём галстук, и этот галстук тебе ужасно понравился — я просто говорю к примеру. Значит, что он сделал бы? Он, наверно, снял бы этот галстук и отдал тебе. Да, отдал. Или знаешь, что он сделал бы? Он бы оставил этот галстук у тебя на кровати или на столе. В общем, он бы тебе подарил этот галстук, понятно? А другие — никогда.

— Чёрта лысого! — сказал Экли. — Будь у меня столько денег, я бы тоже дарил галстуки.

— Нет, не дарил бы! — Я даже головой покачал. — И не подумал бы, детка! Если б у тебя было столько денег, как у него, ты был бы самым настоящим...

— Не смей называть меня «детка»! Я тебе в отцы гожусь, дуралей!

— Нет, не годишься! — До чего он меня раздражал, сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать. — Во-первых, я бы тебя в свой дом на порог не пустил...

— Словом, не смей меня называть...

Вдруг дверь открылась и влетел сам Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Вечно ему было некогда, всё важные дела. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам — тоже довольно неприятная привычка — и спрашивает:

— Ты идёшь куда-нибудь вечером?

— Не знаю. Возможно. А какая там погода — снег, что ли?

Он был весь в снегу.

— Да, снег. Слушай, если тебе никуда не надо идти, дай мне свою замшевую куртку на вечер.

— А кто выиграл? — спрашиваю.

— Ещё не кончилось. Мы уходим. Нет, серьёзно, дашь мне свою куртку, если она тебе не нужна? Я залил свою серую какой-то дрянью.

— Да, а ты мне её всю растянешь, у тебя плечи вон какие, — говорю. Мы с ним почти одного роста, но он весил раза в два больше, и плечи у него были широченные.

— Не растяну! — Он подбежал к шкафу. — Как делишки, Экли? — говорит.

Он довольно приветливый малый, этот Стрэдлейтер. Конечно, это притворство, но всё-таки он всегда здоровался с Экли.

А тот только буркнул что-то, когда Стрэдлейтер спросил: «Как делишки?» Экли не желал отвечать, но всё-таки что-то буркнул — промолчать у него духу не хватило. А мне говорит:

— Ну, я пойду! Ещё увидимся.

— Ладно! — говорю. Никто не собирался плакать, что он наконец ушёл к себе.

Стрэдлейтер уже снимал пиджак и галстук.

— Надо бы побриться! — сказал он. У него здорово росла борода. Настоящая борода!

— А где твоя девочка?

— Ждёт в том крыле, — говорит. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошёл без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса, считал, что он здорово сложен. И это верно, тут ничего не скажешь. <...>

Перевод Риты Райт-Ковалёвой



Размышляем о прочитанном

1. В статье о Сэлинджере в учебнике сказано: «Не одно поколение молодёжи сочувственно следило за потерей детских иллюзий взрослеющим героем книги Холденом Колфилдом». Вызвал ли у вас сочувствие, симпатию главный герой романа? Что в Холдене показалось вам вызывающим сочувствие, согласие, а что спорным, может быть, неприемлемым?
2. Перечитайте первый абзац текста романа. Как вам понравилось начало исповеди Холдена Колфилда? Чем речь главного героя отличается от речи большинства персонажей классических литературных произведений? Что вы можете сказать об отношении Холдена к родителям, старшему брату?
3. Исследователи творчества писателя отмечали: «Читателей завораживал неподражаемый стиль холденовского монолога, являющий смесь отчаяния и шутовства». Найдите в тексте примеры шутовского поведения Холдена. Чем оно было вызвано? Как такие эпизоды характеризуют героя произведения?
4. В одной из статей о романе Сэлинджера читаем: «Главное обвинение, которое бросает Холден этому миру, — обвинение в фальши, в сознательном притворстве, в показухе». Какие эпизоды монолога Холдена подтверждают этот тезис? Как эти эпизоды характеризуют самого рассказчика?
5. Как вы думаете, почему Холден не мог не зайти к учителю истории Спенсеру, чтобы попрощаться с ним? Как Сэлинджер сумел дать понять читателю, что его категоричный, излишне резкий в суждениях юный герой в глубине души человек добрый и чуткий?



Творческое задание

«А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо бы, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было говорить по телефону, когда захочется», — откровенничает Холден. Захотелось ли вам поговорить по телефону с Дж. Сэлинджером? О чём вы хотели бы рассказать писателю, о чём расспросить его? Напишите сочинение-эссе «Мой разговор с Сэлинджером». Но для этого, как вы, наверно, догадались, надо дочитать роман «Над пропастью во ржи» до конца.

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА



Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ

1903—1958

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н. Заболоцкий

Боже мой, только сейчас... я сообразил, что он умер в сравнительно молодом возрасте, а вот казался всегда старше и по степенно-старомодным манерам провинциального бухгалтера, и по сделанному им в поэзии. Первая книга Заболоцкого «Столбцы» была мятежно-новаторской, уходя своими корнями в раннего Маяковского («Я сразу смазал карту будня...»), в хлебниковские неожиданно взламываемые ямбы, в живопись Шагала, Гончаровой и Ларионова. Вся книга была пронизана издевательским презрением к «мурлу мещанина», способного поглотить все великие идеи.

«Вторая книга», вышедшая в 1937 году, была бегством от социальности, становящейся опасной, в пантеизм. Но он тоже оказался небезопасен. В 1938 году Заболоцкий был репрессирован и вернулся в 1946 году благодаря заступничеству Фадеева. Сначала ушёл в переводы, но затем, после 53-го года, снова выдвинулся в первые ряды поэтов, написав такие шедевры, как «Некрасивая девочка» и «Где-то в поле возле Магадана».

Во всех своих ипостасях¹ Заболоцкий — замечательный поэт.

Евгений Евтушенко

Поэзия Николая Алексеевича Заболоцкого необычайно многогранна: это стихи, воспевающие родную природу, стихотворения, посвящённые самому вы-

¹ *Ипостась* (от греческого *hypostasis*) — лицо, сущность, проявление.

сокому её творению — человеку, его жизни, труду, борьбе, произведения для детей и взрослых. Заболоцкий известен не только как оригинальный поэт, но и как замечательный переводчик.

Переводы Рабле, Шарля де Костера, «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, наконец, «Слова о полку Игореве», выполненные Н. А. Заболоцким, приблизили к русскому читателю гениальные произведения древнерусской и зарубежной литературы.

Николай Алексеевич Заболоцкий родился в 1903 году недалеко от Казани, где его отец работал агрономом, затем вместе с семьёй переехал в Уржумский уезд, село Сернур. Учился Заболоцкий в реальном училище, качество преподавания в котором ценил весьма высоко. Там он увлекался различными предметами — историей, химией, рисованием. Позднее учился на историко-филологическом факультете 1-го Московского университета, одновременно — на медицинском факультете 2-го Московского университета, затем в Петрограде окончил факультет русского языка и словесности Педагогического института им. А. И. Герцена. В 1926 году был призван в армию.

Заболоцкий рано начал писать стихи. Первоначально он подражал Блоку, Есенину, Маяковскому. После армии работал в детских журналах «Ёж» и «Чиж». В это время он познакомился с Д. Хармсом, А. Введенским, С. Маршаком. Его первая книга «Столбцы» была принята, как и его поэма «Торжество земледелия», враждебно. Но поэт продолжал работать, экспериментировать. Одновременно он занимается естественными науками, ведёт переписку с К. Циолковским, увлекается философией. Все эти интересы отражаются на его поэтическом творчестве. С 1934 года начинается его необычайно плодотворная переводческая деятельность.

Жизнь, однако, не баловала поэта: в 1938 году его арестовали по ложному обвинению, не имевшему к нему никакого отношения. Сын поэта, Никита Заболоцкий, в книге «Жизнь Н. А. Заболоцкого» справедливо сказал об этом так:

«Вся нелёгкая жизнь Заболоцкого была скрытым единоборством с господствующим в стране тоталитарным режимом¹, и не так-то легко определить, насколько велики были потери поэта, неизбежные в этом поединке, и в какой степени он сумел защитить самого себя. Во всяком случае, ни зубодробительная критика 30-х годов, ни тюрьма и лагеря ГУЛАГа, ни последующая поли-

¹ *Тоталитарный режим* (от французского *totalitaire*) — политический режим, в котором государственная власть всеохватно, всеобъемлюще, полно сосредоточена в руках какой-либо одной группы.

цейская слежка, ни жестокий прессинг¹ официальной идеологии не заставили Заболоцкого отказаться от самостоятельной мысли и преданности своему делу. Томик его стихов прочно вошёл в сокровищницу русской классической поэзии».

В 1944 году Заболоцкий был освобождён. Сначала он жил в селе Михайловском Алтайского края, затем в подмосковном Переделкине... В 1957 году вышел в свет сборник его стихотворений, в который вошло 64 оригинальных произведения. Поэт начал готовить полное собрание собственных сочинений, необычайно много работал, но выполнить всё, что задумывал и намечал, не успел. В 1958 году крупнейшего поэта XX века не стало.

Удивительна жизнь стихотворных произведений Заболоцкого. Чем дальше уходят годы от времени создания им поэтических произведений, тем ближе, дороже, понятнее становятся они людям. Сбывается предвидение поэта, когда-то сказавшего своему сыну:

«Меня уже не будет, но ты увидишь: лет через восемь меня начнут широко печатать».

Действительно, сочинения Заболоцкого пришли в дом к взрослому читателю, их читает и юное поколение.

В творческой лаборатории Н. А. Заболоцкого

Как человека и поэта Заболоцкого всегда отличали суровая самодисциплина, необычайная строгость в отношении к себе и своему поэтическому труду, ясные, простые и твёрдые жизненные принципы, которым он следовал с самых ранних лет до последних дней. Вот что пишет о нём его сын, как никто другой знавший особенности характера своего отца:

«Это был человек, который всегда стремился анализировать свои поступки, своё творчество и безжалостно отбрасывать то, что ему мешало идти намеченным путём в жизни и в литературе. Его требовательность к самому себе, а иногда и к окружающим выразилась в последнем его стихотворении, где сказано о воспитании души:

А ты хватай её за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Такая жестокость к собственной душе провозглашалась во имя гуманности и высокой нравственности. Поэтому-то он хотел, чтобы его душа жила „по-человечьи“, то есть целеустремлённо служила добру, справедливости и под-

¹ *Прессинг* (от английского *pressing*) — активная форма давления на кого-либо или на что-либо.

линному искусству. И вот, в соответствии с программой воспитания собственной души, многие черты характера, интересы и наклонности, сформированные в детские и юношеские годы, Заболоцкий принял и перенёс в свою новую жизнь».

Сам поэт об этом писал ещё более определённо и жёстко, выявляя главное и обязательное в творческой деятельности:

«Поэт работает всем своим существом, разумом, сердцем, душой, мускулами. Он работает всем своим организмом, и чем согласованней будет эта работа, тем выше будет её качество. Чтобы торжествовала мысль, он воплощает её в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль — Образ — Музыка — вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт».

Высказанная Н. А. Заболоцким мысль о тройственности, к которой должен стремиться каждый поэт, в первую очередь касается его поэзии. Тут надо учесть, что под «музыкой» Заболоцкий имеет в виду не только музыкальность стиха, но затаённую гармонию всеобщей мировой жизни, которая родственна гармонии душевной.

Понаблюдаем за мыслью, за созданием образа, за музыкальностью в его стихотворениях. Сравним объективное описание первых лет после революции и описание в стихотворении Заболоцкого «Ходоки».

Особенно тяжело в то время жилось в Петрограде и в Москве. Не ходил транспорт, не отапливались здания... Праздничным блюдом была мёрзлая картошка. Не было самого необходимого: спичек, соли, мыла, керосина, сахара, чая. Не работали фабрики, заводы из-за недостатка топлива. В стране свирепствовал тиф.

Поэт рисует эту картину так, что читатель не только представляет себе происходящее, но и наиболее глубоко и полно переживает, чувствует свою сопричастность к нему:

Русь металась в голоде и буре,
Всё смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик в комендатуре,
Человечье горе без прикрас...

Здесь интересны и метафоры (например, «Русь *металась* в голоде и буре» и др.), и звукопись. Кажется, что слышатся крики, гул, и Русь, как живое существо, мечется в страшной болезни, ища облегчения. Так, оформляясь в образ, превращаясь в звук, в музыку, воплощается мысль автора о народной беде в страшные революционные годы.

Единство мысли, образа и музыки «видимо» и «слышимо» и в других стихотворениях поэта, рисующих разные времена бытия.

Вот, например, величественные картины зимы:

Глубокий мрак ночей выводит терема
Сверкающих снегов над выступами сада.
В одежде кристаллической своей
Стоят деревья... —

сменяются в других стихотворениях описаниями простого одуванчика или по-дорожника. Поэт тонко чувствует дыхание первых весенних дней, его радует появление первых листьев, «на рассвете весеннего дня», чутко слышит он весенние шумы «беспредельных полей и дубрав», перенося читателя «в государство ромашек, в края, где и ручей, задыхаясь, поёт...».

Воспевая природу, поэт обращает свой взор на человека и любителю красоты человеческих лиц:

Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен!

Для Н. А. Заболоцкого характерно чувство постоянного обновления мира в целом и каждой личности в отдельности:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь, —
Лишь именем одним я называюсь...

Итальянский переводчик и критик Витторио Страда подчёркивал в Заболоцком «мудрое искусство метаморфоз и верности самому себе...». В Тарусе, где Заболоцкий жил последние два года, были созданы замечательные лирические и философские пейзажи. Таково ставшее уже хрестоматийным стихотворение «Вечер на Оке». По словам поэта Бориса Слуцкого, Заболоцкий, работая от зари до зари, написал десятки неповторимых стихотворений. Давид Самойлов в стихотворении «Заболоцкий в Тарусе» нарисовал его поэтический портрет, резко очертив в коротких строчках самобытные человеческие и творческие стороны характера Заболоцкого:

Вдруг понял я тайную повесть,
Сокрытую в этой судьбе,
Его непомерную совесть,
Его беспощадность к себе.

Современники поэта отмечали сдержанность, постоянную погружённость в свои замыслы, в свой труд, необычайную требовательность к себе, чистоту и благородство, ответственность за «ремесло» и осознание «высокой миссии поэта», отсутствие снобизма, наигранности и лицемерия.

Незадолго до смерти Н. А. Заболоцкий в книге «Мысль — образ — музыка» (1957) рассказал об особом отношении поэта к слову:

«Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить, плакать, они должны перекликаться друг с другом, словно влюблённые, подмигивать друг другу, подавать тайные знаки, назначать свидания и дуэли».

В стихах Заболоцкого впечатления и настроения непременно подкрепляются звукописью, скрепляются особым ритмом и рифмой. Вместе с тем Заболоцкий не забывает и о живописной и скульптурной изобразительности, также создаваемой поэзией. Оценивая стихотворение «Север», в котором поэт достиг «простой человеческой правды», поэтесса Ольга Берггольц писала:

«Стихи прекрасны... они обладают громадным обаянием скульптурной, любовной изобразительности... Шедевры поэтического видения».

В качестве примера можно привести следующее впечатляющее четверостишие:

В воротах Азии, среди лесов дремучих,
Где сосны древние стоят, купая в тучах
Свои закованные холодом верхи;
Где волка валит с ног дыханием пурги...

Одним из самых мощных и самых трагических стихотворений XX века, одним из первых откликов на угрозу атомной войны назвал критик А. Македонов стихотворение Н. А. Заболоцкого «В этой роще берёзовой...». В нём отразились и философские раздумья поэта, и беседы с Циолковским об атомах, и жизненные наблюдения над окружающим человека миром природы. Контрастные картины мира и надвигающейся возможной гибели обнажены в стихотворении:

В этой роще берёзовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет...

...Окружённая взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь...

Радостное восприятие жизни и серьёзные философские размышления слышатся в стихотворениях «Уступи мне, скворец, уголок...», «Я не ищу гармонии в природе...». Многие стихотворения по праву считаются образцами философской лирики XX века. Среди них: «Завещание», «Можжевельный куст», пере-

ложенные на музыку бардом Александром Сухановым, «Не позволяй душе лениться...», «Весна в лесу», «Журавли», «Некрасивая девочка» и многие другие.

Стихотворения Заболоцкого много говорят каждому, кто их читал и читает, потому что поэтические переживания автора передают чувства большинства людей. Настроенные на поэтическую волну Заболоцкого, люди лучше понимают себя и свои чувства. Поэт нашёл слова, чтобы воплотить пережитое и им самим, и его благодарными читателями, например, в стихотворении «Я не ищу гармонии в природе...» (1947). Стихотворение посвящено отношениям природы и человека — одной из наиболее постоянных и ответственных тем русской философской лирики. Эта тема берёт начало от Ломоносова и Державина, проходит через весь XIX век (Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и др.) и находит своё продолжение в поэзии XX столетия. Н. А. Заболоцкий тяготеет в своём понимании природы к традиции, начатой Е. А. Баратынским.

Если для одних русских поэтов природа — точка приложения усилий человека, противоположная ему стихия, подлежащая воздействию разума, если для других она предстаёт врачующей, исцеляющей силой, примиряющей борьбу страстей, сомнений, колебаний в душе человека, если для третьих она предмет эстетических наслаждений, демонстрирующий цельность, красоту и совершенство бытия, то Баратынский мыслит природу подвижным, способным к превращениям «равновесьем диких сил». Единство и цельность природы заключаются, по мысли Баратынского, в вечном борении составляющих её стихий, которые, завершаясь примирением, снова поднимают мятеж друг против друга.

В первых двух строфах отрицается «гармония в природе». Лирическое «я» отвергает представление о согласии, царящем в природном мире, широко бытовавшее в поэзии. Здесь Заболоцкий целиком солидарен с Баратынским: в естественном бытии, в «натуре» господствует борьба, своеволие, своеобразие бушующих стихий. Там нет разумности, не слышно стройных хоров:

Как своенравен мир её дремучий!
В ожесточённом пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.

Согласно Заболоцкому, природа являет собой торжество противоречий, внутри её идёт вечное и беспощадное сражение стихий.

В следующих четырёх строфах говорится об изнеможении природы. Здесь Заболоцкий отходит от Баратынского: противоборство природных сил у Баратынского неистощимо. Именно в результате этого возможно «равновесье», возможно возрождение погибшего в отчаянных, смертельных схватках мира.

В заключительных строфах Заболоцкий полемизирует с Баратынским и резко отвергает его точку зрения. По его мнению, природа-мать любит человека

и, подобно матери, пестующей своего ребёнка, «таит в себе высокий мир дитяти». Только вместе с ним она может обрести согласие, стремясь к тому, чтобы человек дал ей смысл, насытил её жизнь разумом. Вне человека, отъединённая от человека, природа беспомощна. В содружестве с человеком она находит своё оправдание, начинает жить полнокровной жизнью («налитые током провода»), ощущает гармонию с собой и вне себя, являет красоту («блестящий вал турбины», «мерный звук разумного труда», «пенье труб», «заревое плотины») и обеспечивает себе бессмертие. Обогащённая разумом человека, лишь в единстве с ним она способна достичь света истины, добра и красоты, символом которых выступает солнце («вместе с сыном солнце увидеть»).

Таким образом, философское стихотворение Заболоцкого посвящено идее единства и согласия двух таинств — природы (безумной матери) и человека (разумного сына). Поэт не может примириться с тем, что в природе и в человеческом обществе, а также между ними идёт непримиримая и губительная, бесплодная и вечная война. Его не радует, что в ходе этой борьбы мир гибнет и возрождается вновь. Смысл бытия состоит в ином — в жизнерадостной, разумной и плодотворной совместной деятельности природы и человека, закреплённой в результатах их общих трудов, направленных на познание и совершенствование мира.

Заключая размышление о талантливейшем русском поэте XX века, о его жизненном и творческом пути, А. Македонов писал:

«Это был путь к широким просторам поэзии высших форм самосознания, философской народности. Это был путь к новому томлению, поиску, высшему беспокойству, труду души человека и художника».

Н. А. Заболоцкий о себе

Н. А. Заболоцкий был вправе сказать о себе:

«Я — человек, часть мира, его произведение. Я — мысль природы и её разум. Я — часть человеческого общества, его единица. С моей помощью и природа, и человечество преобразуют самих себя, совершенствуются, улучшаются. Но так же как разум ещё не постиг всех тайн микрокосма, он и в области макрокосма ещё только талантливое дитя, делающее свои первые удивительные открытия.

Я, поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружают меня всюду. Растения во всём их многообразии — эта трава, эти цветы, эти деревья — могущественное царство первобытной жизни, основа всего живущего, мои братья, питающие меня и плотью своей, и воздухом, — все они живут рядом со мной. Разве я могу отказаться от родства с ними? Изменчивость растительного пейзажа, сочетание листвы и ветвей, игра солнца на плодах земли — это улыбка на лице моего друга, связанного со мной узами кровного родства.

Косноязычный мир животных, человеческие глаза лошадей и собак, младенческие разговоры птиц, героический рёв зверя напоминают мне мой вчерашний день. Разве я могу забыть о нём?

Множество человеческих лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн, — что может быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского сообщества?

Невидимые глазу величественные здания мысли, которые, подобно деятельным призракам, высятся над жизнью человеческого мира, воодушевляют меня, укрепляют во мне веру в человека. Усилия лучшей части человечества, которое борется с болезнями рода людского, борется с безумием братоубийственных войн, с порабощением одного человека другим человеком, мужественно проникает в тайники природы и преобразует её, — всё это знаменует новый, лучший этап мировой жизни со времён её возникновения. Многосложный и многообразный мир со всеми его победами и поражениями, с его радостями и печалью, трагедиями и фарсами окружает меня, и сам я — одна из деятельных его частиц. Моя деятельность — моё художественное слово.

Путешествуя в мире очаровательных тайн, истинный художник снимает с вещей и явлений плёнку повседневности и говорит своему читателю:

— То, что ты привык видеть ежедневно, то, по чему ты скользишь равнодушным и привычным взором, — на самом деле не обыденно, не буднично, но полно неизъяснимой прелести, большого внутреннего содержания, и в этом смысле — таинственно. Вот я снимаю плёнку с твоих глаз: смотри на мир, работай в нём и радуйся, что ты — человек!»

Современники о Н. А. Заболоцком

А. Македонов:

«Заболоцкий — поэт углублённого раздумья и подчас необычной и нелёгкой формы — стал для тысяч наших читателей одним из любимых поэтов современности. „Слово о полку Игореве“, „Витязь в тигровой шкуре“ и другие переводы классиков и современных поэтов, сделанные им, прочно вошли в нашу духовную жизнь. Ещё в 1948 году, когда критика упорно замалчивала Заболоцкого, помню, с каким волнением и восхищением говорил о его стихах мой старый товарищ — учитель и геолог. Как сразу же выделил он, ранее не знавший о Заболоцком, стихотворение „Творцы дорог“ из всего потока тогдашней поэзии!

Помню вечер в Заполярье в начале 1958 года. Это был концерт самодеятельности, организованный местным геологическим управлением. Собрались геологи, механики, строители, буровики. Люди реальнейших и конкретных дел,

„матросы тундры“, как назвал их местный поэт... Оказалось, что стихи эти, рассеянные в разных журналах и собранные в небольшой книжечке, известны и любимы в этом далёком крае людьми сурового, напряжённого труда. В зале находили глубокий отклик и стихи о строителях дорог, и стихи о весне и скворце, и стихи о некрасивой девочке...

Приходилось мне встречать стихи Заболоцкого и в „заветных тетрадках“.

В последние годы имя поэта всё шире начинает звучать и за пределами нашей страны. Его стихотворения переведены на албанский, английский, болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, французский и другие языки.

За пятьдесят пять лет жизни и тридцать с небольшим лет активного участия в нашей литературе поэт прошёл путь очень сложный и трудный, очень необычный и очень типичный для сложных и необычных путей нашего времени».

Проверьте себя

1. Как вы понимаете слова Н. А. Заболоцкого, взятые в качестве эпиграфа к статье о поэте?
2. Какие воспоминания детства отразились в ранних стихах поэта?
3. Какой личностью предстаёт Н. А. Заболоцкий благодаря свидетельствам А. Макадонова, самого Заболоцкого?

Творческое задание

Публичное выступление. Используя материалы учебника, словаря «Русские писатели. XX век», подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве Н. А. Заболоцкого.

Я не ищу гармонии в природе

Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир её дремучий!
В ожесточённом пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.

Но в тихий час осеннего заката,
 Когда умолкнет ветер вдалеке,
 Когда, сияньем немощным объята,
 Слепая ночь опустится к реке,

Когда, устав от буйного движенья,
 От бесполезно тяжкого труда,
 В тревожном полусне изнеможенья —
 Затихнет потемневшая вода,

Когда огромный мир противоречий
 Насытится бесплодной игрой, —
 Как бы прообраз боли человеческой
 Из бездны вод встаёт передо мной.

И в этот час печальная природа
 Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
 И не мила ей дикая свобода,
 Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
 И мерный звук разумного труда,
 И пенье труб, и зарево плотины,
 И налитые током провода.

Так, засыпая на своей кровати,
 Безумная, но любящая мать
 Таит в себе высокий мир дитяти,
 Чтоб вместе с сыном солнце увидеть.



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Я не ищущ гармонии в природе»

1. В поэзии, в том числе русской, часто звучит тема, в которой противопоставлены природа и «блестящий вал турбины, / И мерный звук разумного труда...». Какое неожиданное решение получает проблема противопоставления естественной природы

и технического прогресса в стихотворении Николая Заболоцкого? Как вы понимаете финальные строки произведения?

2. Помогло ли вам чтение актрисы понять суть размышлений поэта?

О красоте человеческих лиц

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг¹.
Иные холодные, мёртвые лица
Закрыты решётками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живёт и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка её на меня
Струилось дыхание весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобия ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«О красоте человеческих лиц»

1. «Множество человеческих лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полный тайн...»

(Н. Заболоцкий)

Послушаем, что об этом говорит знаменитое стихотворение Н. Заболоцкого «О красоте человеческих лиц».

2. Как меняются интонации актрисы, читающей строки о разных типах человеческих лиц?
3. Чтение финальных строк стихотворения сопровождается музыкой Сергея Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» (сцена «Утро в Венеции»). Согласны ли вы с подбором музыки?

¹ *Сычуг* — здесь: коровий или свиной желудок, а также кушанье из фаршированного мясом коровьего или свиного желудка.

Где-то в поле возле Магадана

Где-то в поле возле Магадана,
 Посреди опасностей и бед,
 В испареньях мёрзлого тумана
 Шли они за розвальнями¹ вслед.
 От солдат, от их лужёных глоток,
 От бандитов шайки воровской
 Здесь спасали только околодок²
 Да наряды в город за мукой.
 Вот они и шли в своих бушлатах —
 Два несчастных русских старика,
 Вспоминая о родимых хатах
 И томясь о них издалека.
 Вся душа у них перегорела
 Вдалеке от близких и родных,
 И усталость, сгорбившая тело,
 В эту ночь снедала души их.
 Жизнь над ними в образах природы
 Чередой двигалась своей.
 Только звёзды, символы свободы,
 Не смотрели больше на людей.
 Дивная мистерия вселенной
 Шла в театре северных светил,
 Но огонь её проникновенный
 До людей уже не доходил.
 Вкруг людей посвистывала вьюга,
 Заметая мёрзлые пеньки.
 И на них, не глядя друг на друга,
 Замерзая, сели старики.
 Стали кони, кончилась работа,
 Смертные доделались дела...
 Обняла их сладкая дремота,
 В дальний край, рыдая, повела.
 Не нагонит больше их охрана,
 Не настигнет лагерный конвой,
 Лишь одни созвездья Магадана
 Засверкают, став над головой.

¹ *Розвальни* — низкие и широкие сани без сиденья, с боками, расходящимися врозь от передка.

² *Околóдок (околóток)* — соседняя местность, окрестность.



Размышляем о прочитанном

Почему поэт определяет местом действия своего стихотворения «...поле возле Магадана», хотя сам он был в ссылке в других местах?



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Где-то в поле возле Магадана»

1. Стихотворение посвящено трагической теме репрессий сталинского времени. Послушаем его. Как звучит в актёрском чтении скорбный рассказ о страданиях репрессированных?
2. Каковы отношения людей и природы в стихотворении Николая Заболоцкого? Почему только после смерти каторжан произошло их воссоединение с природой:

Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой?

3. Согласны ли вы с интонациями, избранными актёром? Помогает ли музыка П. И. Чайковского воспринимать это стихотворение? Вызывает ли актёрское чтение стихотворения у вас сопереживание и сострадание?
4. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

Можжевеловый куст

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон лёгкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Можжевеловый куст»

1. Обратите внимание на то, как повторы в актёрском чтении создают особый музыкальный ритм, особую мелодию стихотворения и погружают слушателя в глубокую мысль поэта.
2. Какие интонации актёра помогают услышать музыку стихотворения, увидеть красоту природы и красоту человеческого лица?
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

СТИХОТВОРЕНИЯ, СТАВШИЕ ПЕСНЯМИ

Владимир Семёнович ВЫСОЦКИЙ

1938—1980

Владимир Высоцкий был одарён многими талантами — яркий театральный актёр, сыгравший на сцене легендарного театра на Таганке сомневающегося Гамлета и неукротимого Хлопушу, киноактёр, вошедший в историю отечественного кинематографа ролями Глеба Жеглова («Место встречи изменить нельзя») и Ибрагима Ганнибала («Арап Петра Великого»).

Но прежде всего с именем Владимира Высоцкого ассоциируется слава барда, поэта и музыканта. Он не был участником Великой Отечественной войны. Его отрочество и юность пришлись на первые послевоенные годы. Но трагическая и героическая эпоха войны была недалеко, участники войны — отец, дядя, родные, соседи, их судьбы, воспоминания были рядом. Военные песни Высоцкого — это не рассказ о событиях войны, а размышления о людях, прошедших это суровое испытание. Такова и песня «Он не вернулся из боя».

Он не вернулся из боя

Почему всё не так? Вроде всё, как всегда:
То же небо — опять голубое...
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое...
Для меня — будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась будто из плена весна
 По ошибке окликнул его я:
 «Друг, оставь покурить!» — а в ответ — тишина
 Он вчера не вернулся из боя.

Наши мёртвые нас не оставят в беде,
 Наши павшие — как часовые...
 Отражается небо в лесу, как в воде, —
 И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
 Нам и время текло — для обоих,
 Всё теперь — одному, только кажется мне —
 Это я не вернулся из боя.

1969



Творческое задание

Авторская песня — особый жанр искусства. Её необходимо слышать именно в авторском исполнении. В авторской песне содержание заложено не только в словах, нотах, но и в интонации, тембре голоса, эмоциональном настрое, порою даже в жестах, мимике автора-исполнителя. Попробуйте сначала прочитать текст и написать на него краткий отзыв, а затем прослушайте песню в исполнении Высоцкого. Что дало вам авторское исполнение для понимания произведения? Что вы не заметили, не почувствовали в нём при чтении текста, не слыша голоса поэта?



Внеклассное чтение

1. Познакомьтесь самостоятельно с текстом «Песни о друге» В. Высоцкого. Как вы думаете, почему покорение горных вершин является испытанием, в котором проявляются качества человека?
2. В этом стихотворении В. Высоцкого мы снова встречаем противопоставление: надёжный друг, храбрый и мужественный — с одной стороны, слабак — с другой. Подумайте, какими художественными средствами создаётся такая антитеза.

Роберт Иванович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

1932—1994

Известность к поэту Роберту Рождественскому пришла в шестидесятые годы, в эпоху «оттепели», когда он вместе в Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Евгением Евтушенко выступал на знаменитых поэтических вечерах в Политехническом музее. Это была эпоха «поэтического бума». Рождественский — автор больших лирико-публицистических поэм «Письмо в тридцатый век», «210 шагов», «Реквием». Но в наши дни он более известен как автор песен, звучащих с эстрады, ставших важным художественным элементом кинопроизведений: «Огромное небо», «Погоня», «Там, за облаками», «Баллада о красках», «Позвони мне, позвони». Особую популярность получили песни из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» (музыка М. Таривердиева), а также стихотворение «На земле безжалостно маленькой...» о том, как маленькое становится великим, о величии подвига человека.

Песня о далёкой родине

Я прошу,
хоть ненадолго,
грусть моя,
ты покинь меня!
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому.
Отсюда к родному дому.

Берег мой,
покажись вдали
краешком,
тонкой линией.
Берег мой,
берег ласковый,
ах, до тебя, родной, доплыть бы!
Доплыть бы, хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, очень далеко
идут грибные дожди.
Прямо у реки,
в маленьком саду
созрели вишни,
наклонясь до земли.

Где-то далеко,
в памяти моей
сейчас, как в детстве, тепло.
Хоть память
укрыта
такими большими снегами!

Ты гроза,
напой меня
допьяна,
да не до смерти!
Вот опять,
как в последний раз,
я всё гляжу куда-то в небо,
как будто ищу ответа...

Я прошу,
хоть ненадолго,
грусть моя,
ты покинь меня!
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому.
Отсюда к родному дому.



Размышляем о прочитанном

Слова стихотворения, ставшего песней, были написаны для фильма «Семнадцать мгновений весны» (режиссёр — Т. Лиознова, 1973) о разведчике, работающем вдали от родины. Как вы считаете, почему песня стала популярной? Только ли ситуацией фильма ограничены переживания лирического героя?

Булат Шалвович ОКУДЖАВА

1924—1997

Булата Окуджаву часто называют одним из основоположников авторской песни. Это так, но в целом творчество Окуджавы значительно шире и глубже жанровых рамок бардовской песни. Во-первых, потому, что он не только стихотворец, но и прозаик. Его романы «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом» оригинальны, историчны и в то же время остро современны. Во-вторых, нельзя недооценивать его стихи, не ставшие песнями.

По Смоленской дороге

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорожкой, как твои глаза, —
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

1969



Фонохрестоматия

СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ

«По Смоленской дороге»

1. Сравните чтение стихотворения Булата Окуджавы народным артистом России Леонидом Кулагиным и исполнение песни.
2. Как вы считаете, различается ли общий эмоциональный настрой актёрского чтения и звучания песни? Чем?
3. Каким вам представляется характер, возраст, судьба, настроение лирического героя прочитанного стихотворения и лирического героя песни? Подготовьте развернутый ответ на этот вопрос.

Белла Ахатовна Ахмадулина

1937—2010

Широкую известность получила в шестидесятые годы в период «оттепели», когда вместе с друзьями, представителями «эстрадной поэзии» (Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский) собирала огромные аудитории слушателей на поэтических вечерах. Художественное, артистичное исполнение собственных стихов стало одной из важных причин популярности Ахмадулиной. Особые, свойственные только ей тембр, интонация, предельная искренность и музыкальность очаровывали, пленяли слушателей. Остро современная не столько по темам, сколько по переживаниям, лирика поэтессы органично связана с образным миром русской классической поэзии. Иосиф Бродский называл Ахмадулину «несомненной наследницей лермонтовско-парстернаковской линии в русской поэзии». Романс «А напоследок я скажу...» (музыка А. Петрова) впервые прозвучал в фильме режиссёра Э. Рязанова «Жестокий романс» (1984).

Прощание

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.
Как ты любил? Ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? Ты погубил,
но погубил так неумело.
Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело моё опустело.
Работу малую висок
ещё вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.



Размышляем о прочитанном

1. Ахмадулина — прекрасный мелодист, но в стихотворении «Прощание» ритм прерывистый, фразы «толкаются» перебивают одна другую, начинаются, не дав закончиться предыдущей. Какое состояние лирической героини передаёт ритм стихотворения?
2. Какие слова, фразы, предложения явно далеки от обычной разговорной речи, повышают читателя до уровня высокой поэзии?

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА



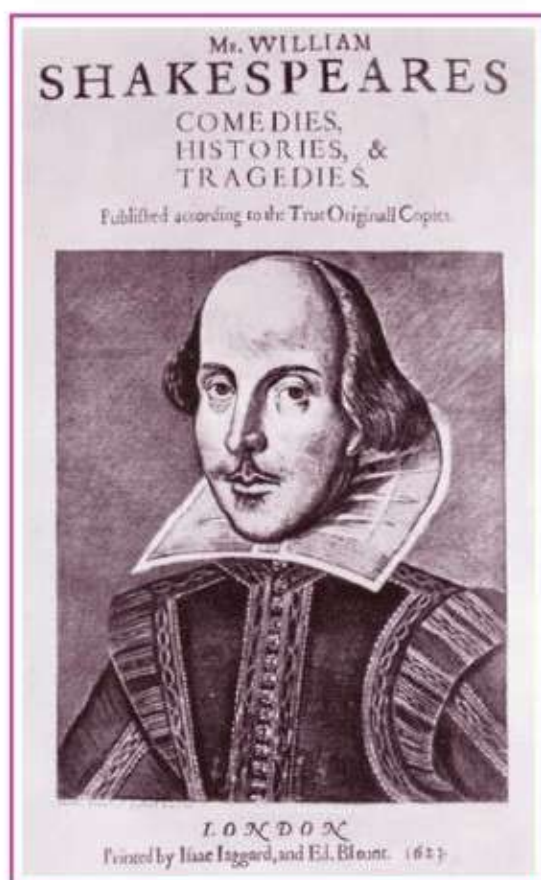
**Вильям
ШЕКСПИР**

1564—1616

Вильям Шекспир — великий английский поэт и драматург эпохи Возрождения.

О жизни великого драматурга сохранилось мало сведений, так как в глазах современников он отнюдь не был таким великим человеком, каким его признали последующие поколения. Его жизнь и творчество обросли легендами. Многие учёные по крупинке собирали данные о Шекспире, строили догадки, проверяли гипотезы и заполняли пробелы в его биографии. Документы, которые удалось найти, касаются в основном имущественных дел драматурга, зато о театральной деятельности Шекспира имеются более подробные сведения.

Шекспир родился в маленьком провинциальном городке Стратфорде, расположенном на реке Эйвон. Отец Шекспира был состоятельным ремесленником и торговцем. Своё детство Шекспир провёл среди простых людей, глубоко усвоив живой народный язык. Начальное образование будущий драматург получил в грамматической школе Стратфорда, где главным предметом изучения были древние языки. Здесь Шекспир усвоил латынь и древнегреческий. На этом его официальное образование закончилось, так как уже с четырнадцатилетнего возраста он был вынужден помогать отцу в делах. Однако Шекспир стал весьма образованным для своего времени человеком, постоянно занимаясь самообразованием, пополняя недостающие знания чтением книг. В возрасте восемнадцати лет Шекспир женился, а через три-четыре года отправился в Лондон в поисках заработка. Его отец к этому времени испытал серьёзные



В. Шекспир. Гравюра работы художника М. Друсхонта. «Фолио». 1623 г.

жизненные трудности, лишился денег и почётного положения, которое некоторое время занимал в Стратфорде.

В Лондоне Шекспир сменил несколько профессий и только в 1594 году окончательно связал свою судьбу с театром. Он вошёл в актёрское товарищество своего известного земляка, талантливого актёра Бёрбеджа. Труппа именовала себя «Слуги лорда-камергера». В 1599 году Бёрбедж открывает театр «Глобус», который стал лучшим среди шести лондонских театров. Успех театра во многом зависел от его репертуара, который создавал Шекспир, уже несколько лет увлекавшийся литературной деятельностью. Ранние опыты Шекспира были переделкой и «подновлением» уже существующих сюжетов, позднее он перешёл к созданию собственных произведений. В труппе Шекспира более ценили как драматурга, а не как актёра, хотя на сцене он оставался лет до сорока. В 1612 году Шекспир расстался с театром и вернулся в родной Стратфорд, где жил до самой смерти. Последние пьесы, написанные Шекспиром для его труппы, относятся к 1612—1613 годам. После этого

драматург замолчал. Исследователи предполагают, что последние четыре года жизни Шекспир болел. Скончался великий драматург в возрасте 52 лет и был похоронен под алтарём храма Святой Троицы в родном городе.

Наследие Шекспира составляют 154 сонета, несколько небольших поэм, стихотворные циклы и 37 пьес.

Ранний период творчества Шекспира (1590—1600) прошёл под знаком надежд на обновление. Это было время написания исторических хроник («Ричард II», «Ричард III», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и др.) и комедий («Укрощение строптивой», «Венецианский купец», «Виндзорские насмешницы», «Двенадцатая ночь» и др.). Светлое, жизнерадостное настроение комедий, вера в торжество лучших начал в государственной жизни исторических хроник сочетаются в этом периоде творчества. Единственная трагедия этого периода — «Ромео и Джульетта» (1595) — проникнута светом романтической любви и глубоким лиризмом.

Ромео и Джульетта выросли и живут в обстановке вековой вражды их семейств, любой пустяк служит поводом для стычек. Несмотря на это, родилась и расцвела любовь двух прекрасных юных существ, которые презирают кровавые распри, которым не страшна смерть, а страшна жизнь без любимого.

Во второй период своего творчества (1601—1608), который можно назвать «трагическим», Шекспир пытается разрешить вопросы противоречивой природы человека, который может подняться до величайших духовных высот и опуститься до преступления. В этот период созданы знаменитые трагедии «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и «Король Лир».

В последние годы творчества (1609—1613) пьесы Шекспира приобретают иной характер. Драматург начинает искать выход из неразрешимых конфликтов времени в сказке, в утопии. В последних пьесах Шекспира: «Перикл», «Цимбеллин», «Буря», «Зимняя сказка» — мир полон зла, но добро чудесным образом всегда одерживает победу.

Пьесы Шекспира, созданные около четырёх веков назад, живут и до сих пор, потрясая воображение зрителей. Лучшие театры мира, выдающиеся актёры считают для себя великой честью поставить и сыграть спектакль Шекспира.



Творческое задание

Прочитайте высказывания А. С. Пушкина и И. С. Тургенева о Шекспире:

«Трагедия „Ромео и Джульетта“ хотя слогом своим совершенно отделяется от известных его приёмов, но она так явно входит в его драматическую систему и носит на себе так много следов вольной и широкой его кисти, что её должно почесть сочинением Шекспира. В ней отразилась Италия, современная поэту, с её климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с её роскошным языком, исполненным блеска и *concetti*¹».

А. С. Пушкин

«Мы, русские, празднуем память Шекспира, и мы имеем право её праздновать. Для нас Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изредка и издали: он сделался нашим достоянием, он вошёл в нашу плоть и кровь. Ступайте в театр, когда даются его пьесы... ступайте в театр, пробегите все ряды собравшейся толпы, приглядитесь к лицам, прислушайтесь к суждениям — и вы убедитесь, что перед вашими глазами совершается живое, тесное общение поэта с его слушателями, что каждому знакомы и дороги созданные им образы, понятны и близки мудрые и правдивые слова, вытекшие из сокровищницы его всеобъемлющей души!»

И. С. Тургенев

¹ *Концётти* (ит.) — с блеском выраженные мысли.

Познакомьтесь с отрывком из трагедии «Ромео и Джульетта». Сопоставьте свои впечатления с отзывом Пушкина. Изложите свои впечатления и наблюдения в сочинении-эссе.

Попытайтесь последовать советам Тургенева, если будете смотреть спектакль в театре.



Литература и другие виды искусства

Рассмотрите гравюру М. Друсхоута с портрета Шекспира (1623). Согласны ли вы с оценкой, которую дал портрету доктор Рауз: «Какое сильное впечатление он производит, этот внимательный взгляд всепонимающих глаз, и что за лоб, что за мозг!»?

Ромео и Джульетта

(Сцены)

Чтобы понять суть помещаемых ниже сцен, примем во внимание, что юные герои принадлежат к двум смертельно враждующим родам: Джульетта — к роду Капулетти, Ромео — к роду Монтекки.

Акт второй

Сцена 2

Сад Капулетти.

Входит Ромео.

Ромео

.....

Но что за блеск я вижу на балконе?
Там брезжит свет. Джульетта, ты как день!
Стань у окна, убей луну соседством;
Она и так от зависти больна,
Что ты её затмила белизною.

На балконе показывается Джульетта.
Оставь служить богине чистоты.
Плат девственницы жалок и невзрачен.
Он не к лицу тебе. Сними его.
О милая! О жизнь моя! О радость!
Стоит, сама не зная, кто она.
Губами шевелит, но слов не слышно.

Пустое, существует взглядов речь!
 О, как я глуп! С ней говорят другие.
 Две самых ярких звёздочки, спеша
 По делу с неба отлучиться, просят
 Её глаза покамест посверкать.
 Ах, если бы глаза её на деле
 Переместились на небесный свод!
 При их сиянье птицы бы запели,
 Принявши ночь за солнечный восход.
 Стоит одна, прижав ладонь к щеке.
 О чём она задумалась украдкой?
 О, быть бы на её руке перчаткой,
 Перчаткой на руке!

Дж у л ь е т т а

О, горе мне!

Р о м е о

Проговорила что-то. Светлый ангел,
 Во мраке над моею головой
 Ты реешь, как крылатый вестник неба
 Вверху, на недоступной высоте,
 Над изумлённою толпой народа,
 Которая следит за ним с земли.

Дж у л ь е т т а

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!
 Отринь отца да имя измени.
 А если нет, меня женою сделай,
 Чтоб Капулетти больше мне не быть.

Р о м е о

Прислушиваться дальше иль ответить?

Дж у л ь е т т а

Лишь это имя мне желает зла.
 Ты б был собой, не будучи Монтекки.
 Что есть Монтекки? Разве так зовут
 Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
 Неужто больше нет других имён?
 Что значит имя? Роза пахнет розой,
 Хоть розой назови её, хоть нет.

Ромео под любым названьем был бы
 Тем верхом совершенств, какой он есть.
 Зовись иначе как-нибудь, Ромео,
 И всю меня бери тогда взамен!

Ромео

О, по рукам! Теперь я твой избранник.
 Я новое крещение приму,
 Чтоб только называться по-другому.

Джульетта

Кто это проникает в темноте
 В мои мечты заветные?

Ромео

Не смею
 Назвать себя по имени. Оно
 Благодаря тебе мне ненавистно.
 Когда б оно попало мне в письме,
 Я б разорвал бумагу с ним на клочья.

Джульетта

Десятка слов не сказано у нас,
 А как уже знаком мне этот голос!
 Ты не Ромео? Не Монтекки ты?

Ромео

Ни тот, ни этот: имена запретны.

Джульетта

Как ты сюда пробрался? Для чего?
 Ограда высока и неприступна.
 Тебе здесь неминуемая смерть,
 Когда б тебя нашли мои родные.

Ромео

Меня перенесла сюда любовь,
 Её не останавливают стены,
 В нужде она решается на всё,
 И потому — что мне твои родные!

Джульетта

Они тебя увидят и убьют.

Ромео

Твой взгляд опасней двадцати кинжалов.
Взгляни с балкона дружелюбно вниз,
И это будет мне от них кольчугой.

Джульетта

Не попадись им только на глаза!

Ромео

Меня плащом укроет ночь. Была бы
Лишь ты тепла со мною. Если ж нет,
Предпочитаю смерть от их ударов,
Чем долгий век без нежности твоей.

Джульетта

Кто показал тебе сюда дорогу?

Ромео

Её нашла любовь. Я не моряк,
Но если б ты была на крае света,
Не медля мига, я бы, не страшась,
Пустился в море за таким товаром.

Джульетта

Моё лицо спасает темнота,
А то б я, знаешь, со стыда сгорела,
Что ты узнал так много обо мне.
Хотела б я восстановить приличие,
Да поздно, притворяться ни к чему.
Ты любишь ли меня? Я знаю, верю,
Что скажешь «да». Но ты не торопись.
Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер
Пренебрегает клятвами любви.
Не лги, Ромео. Это ведь не шутка.
Я легковойной, может быть, кажусь?
Ну ладно, я исправлю впечатление.
И откажу тебе в своей руке,
Чего не сделала бы добровольно.
Конечно, я так сильно влюблена,
Что глупою должна тебе казаться,
Но я честнее многих недотрог,
Которые разыгрывают скромниц.

Мне б следовало сдержаннее быть,
Но я не знала, что меня услышат.
Прости за пылкость и не принимай
Прямых речей за лёгкость и доступность.

Ромео

Мой друг, клянусь сияющей луной,
Посеребрившей кончики деревьев...

Джульетта

О, не клянись луною, в месяц раз
Меняющейся, — это путь к изменам.

Ромео

Так чем мне клясться?

Джульетта

Не клянись ничем.
Или клянись собой, как высшим благом,
Которого достаточно для клятв.

Ромео

Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...

Джульетта

Не надо, верю. Как ты мне ни мил,
Мне страшно, как мы скоро сговорились.
Всё слишком второпях и сгоряча,
Как блеск зарниц, который потухает,
Едва сказать успеешь «блеск зарниц».
Спокойной ночи! Эта почка счастья
Готова к цвету в следующий раз.
Спокойной ночи! Я тебе желаю
Такого же пленительного сна,
Как светлый мир, которым я полна.

Ромео

Но как оставить мне тебя так скоро?

Джульетта

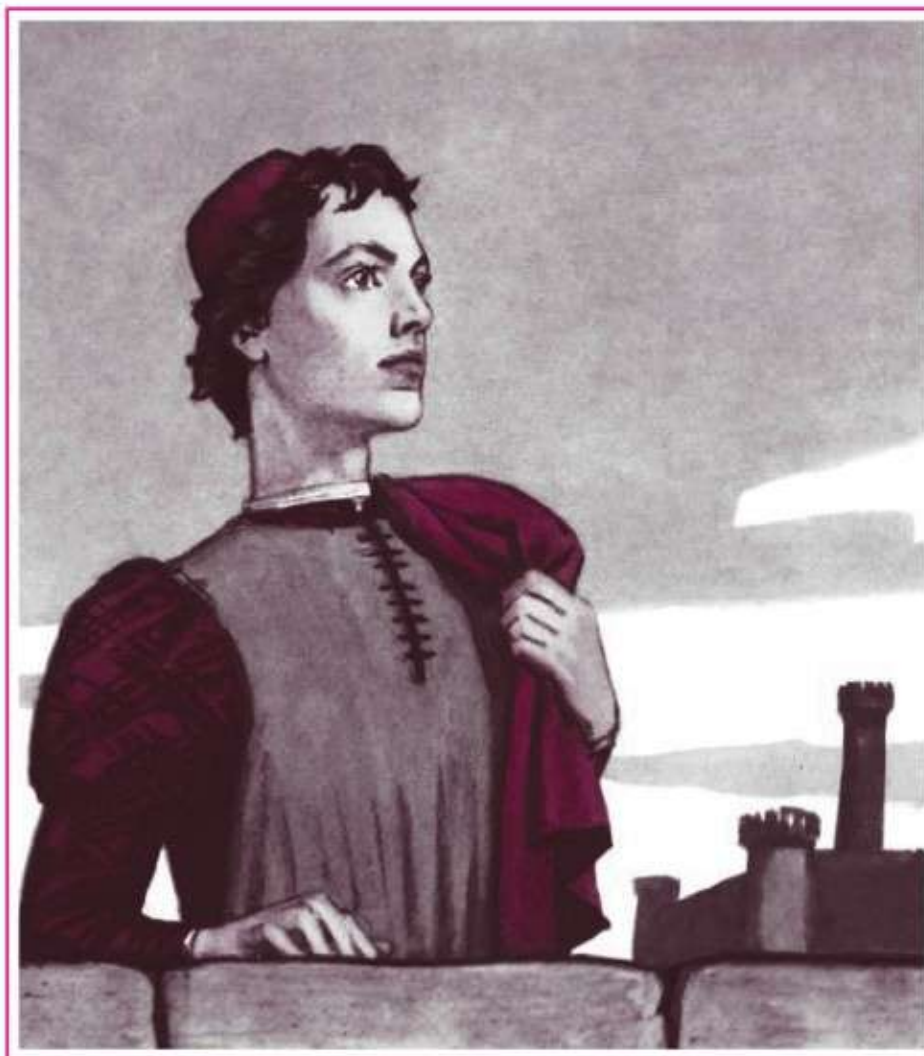
А что прибавить к нашему сговору?

Ромео

Я клятву дал. Теперь клянись и ты.

Джульетта

Я первая клялась и сожалею,
Что дело в прошлом, а не впереди.



«Ромео и Джульетта». Ромео. Художник Д. Шмаринов

Ромео

Ты б эту клятву взять назад хотела?

Джульетта

Да, для того, чтоб дать её опять.
Мне не подвластно то, чем я владею.
Моя любовь без дна, а доброта —
Как ширь морская. Чем я больше трачу,
Тем становлюсь безбрежней и богаче.

Голос кормилицы за сценой.

Меня зовут. Я ухожу. Прощай. —
Иду, иду! — Прости, не забывай.
Я, может быть, вернусь ещё. Постой-ка.

(Уходит.)



«Ромео и Джульетта». Джульетта. Художник Д. Шаринов

Ромео

Святая ночь, святая ночь! А вдруг
Всё это сон? Так непомерно счастье,
Так сказочно и чудно это всё!

На балкон возвращается Джульетта.

Джульетта

Ещё два слова. Если ты, Ромео,
Решил на мне жениться не шутя,
Дай завтра знать, когда и где венчанье.
С утра к тебе придёт мой человек
Узнать на этот счёт твоё решение.
Я всё добро сложу к твоим ногам
И за тобой последую повсюду.

Кормилица *(за сценой)*
Голубушка!

Джульетта

Иду! Сию минуту! —
А если у тебя в уме обман,
Тогда, тогда...

Кормилица *(за сценой)*

Голубушка!

Джульетта

Немедля
Оставь меня и больше не ходи.
Я завтра справлюсь.

Ромео

Я клянусь спасеньем...

Джульетта

Сто тысяч раз прощай.

(Уходит.)

Ромео

Сто тысяч раз
Вздохну с тоской вдали от милых глаз.
К подругам мы — как школьники домой,
А от подруг — как с сумкой в класс зимой.

(Направляется к выходу.)

На балкон возвращается Джульетта.

Джульетта

Ромео, где ты? Дудочку бы мне,
Чтоб эту птичку приманить обратно!
Но я в неволе, мне кричать нельзя,
А то б я эхо довела до хрипа
Немолчным повтореньем этих слов:
Ромео, где ты? Где же ты, Ромео?

Ромео

Моя душа зовёт меня опять.
Как звонки ночью голоса влюблённых!

Джульетта

Ромео!

Ромео

Милая!

Джульетта

В каком часу
Послать мне завтра за ответом?

Ромео

В девять.

Джульетта

До этого ведь целых двадцать лет!
Мученье ждать... Что я сказать хотела?

Ромео

Припомни, я покамест постою.

Джульетта

Постой, покамест я опять забуду,
Чтоб только удержать тебя опять.

Ромео

Припоминай и забывай, покуда,
Себя не помня, буду я стоять.

Джульетта

Почти светает... Шёл бы ты подальше.
А как, скажи, расстаться мне с тобой?
Ты как ручная птичка щеголихи,
Прикованная ниткою к руке.
Ей то дают взлететь на весь подвесок,
То тащат вниз на шёлковом шнурке.
Вот так и мы с тобой.

Ромео

Мне б так хотелось
Той птицей быть!

Джульетта

О, этого и я
Хотела бы, но я бы умертвила
Тебя своими ласками. Прощай!
Прощай, прощай, а разойтись нет мочи!
Так и твердить бы век: «Спокойной ночи».

(Уходит.)

Ромео

Прощай! Спокойный сон к тебе приди
И сладкий мир разлей в твоей груди!
А я к духовнику¹ отправлюсь в келью
Поговорить о радостях и деле.

(Уходит.)

Вынужденный вступить в поединок, Ромео убивает двоюродного брата Джульетты — Тибальда. Ромео должен отправиться в ссылку.

Акт третий

Сцена 5

Комната Джульетты.

Ромео и Джульетта.

Джульетта

Уходишь ты? Ещё не рассвело.
Нас оглушил не жаворонка голос,
А пенье соловья. Он по ночам
Поёт вон там, на дереве граната.
Поверь, мой милый, это соловей!

Ромео

Нет, это были жаворонка клики,
Глашатая зари. Её лучи
Румянят облака. Светильник ночи
Сгорел дотла. В горах родился день
И тянется на цыпочках к вершинам.
Мне надо удалиться, чтобы жить,
Или остаться и проститься с жизнью.

Джульетта

Та полоса совсем не свет зари,
А зарево какого-то светила,
Взошедшего, чтоб осветить твой путь
До Мантуи огнём факелonosца.
Побудь ещё. Куда тебе спешить?

¹ *Духовник* — священник, принимающий исповедь.

Ромео

Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна,
Я и подавно остаюсь с тобой.
Пусть будет так. Та мгла — не мгла рассвета,
А блеск луны. Не жаворонка песнь
Над нами оглашает своды неба.
Мне легче оставаться, чем уйти.
Что ж, смерть, так смерти! Так хочется Джульетте.
Поговорим. Ещё не рассвело.

Джульетта

Нельзя, нельзя! Скорей беги: светает,
Светает! Жаворонок-горлодёр
Своей нескладицей нам режет уши,
А мастер трели будто разводить!
Не трели он, а любящих разводит.
И жабы будто у него глаза.
Нет, против жаворонков жабы — прелесть!
Он пеньем нам напомнил, что светло
И что расстаться время нам пришло.
Теперь беги: блеск утра всё румяней.

Ромео

Румяней день и всё черней прощанье.

В комнату входит кормилица.

Кормилица

Джульетта!

Джульетта

Няня?

Кормилица

Матушка идёт.
Светает. Осторожнее немножко.

(Уходит.)

Джульетта

В окошко — день, а радость — из окошка!

Ромео

Обнимемся. Прощай! Я спрыгну в сад.

Дж у л ь е т т а

Ты так уйдёшь, мой друг, мой муж, мой клад?
Давай мне всякий час всё это время
Знать о себе. В минуте столько дней,
Что, верно, я на сотни лет состарюсь,
Пока с моим Ромео свижусь вновь.

Р о м е о

Я буду посылать с чужбины весть
Со всяким, кто её возьмётся свезть.

Дж у л ь е т т а

Увидимся ль когда-нибудь мы снова?

Р о м е о

Наверное. А муки эти все
Послужат нам потом воспоминаньем.

Дж у л ь е т т а

О Боже, у меня недобрый глаз!
Ты показался мне отсюда, сверху,
Опущенным на гробовое дно
И, если верить глазу, страшно бледным.

Р о м е о

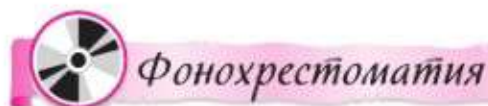
Печаль нас пожирает, и она
Пьёт нашу кровь. Ты тоже ведь бледна.
Прощай, прощай!

(Уходит.)

Дж у л ь е т т а

Судьба, тебя считают
Изменчивою. Если так, судьба,
То в самом деле будь непостоянной
И вдалеке не век его держи.

Перевод Б. Пастернака

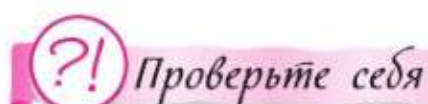


СЛУШАЕМ АКТЁРСКОЕ ЧТЕНИЕ

«Ромео и Джульетта»

Знаменитая трагедия В. Шекспира прочитана и обсуждена вами в классе. Может быть, некоторые видели пьесу в театре. Послушайте отрывки из неё в исполнении актёров.

1. Помогло ли вам актёрское исполнение представить характеры героев трагедии?
2. Какими выразительными средствами речи (интонации, паузы, ударения, повышение и понижение голоса) переданы актрисой Ольгой Шороховой мечты Джульетты и её волнение?
3. Помогли ли актёры почувствовать вам, в чём состоит счастье и трагедия влюблённых?



1. **Публичное выступление.** Подготовьте краткий рассказ о Шекспире. При выполнении задания используйте статью учебника и материалы словаря «Зарубежные писатели».
2. Почему, как считает И. С. Тургенев, русские имеют право праздновать память Шекспира?
3. Какие произведения Шекспира вам известны? О чём рассказывает трагедия «Ромео и Джульетта»? Кто герои трагедии и что в них так давно занимает читателей и зрителей всех стран мира?



Перечитайте монолог Ромео в начале отрывка и ответьте на вопросы.

1. Как драматург передаёт чувства влюблённого юноши, используя художественные сравнения?
2. Как взволнованность речи Ромео передана средствами синтаксиса?
3. Какие сомнения терзают Джульетту в монологе «Моё лицо спасает темнота...»? Найдите элементы монолога в этом диалоге. Для чего такой приём использует драматург?
4. Почему Джульетта, поэтически настроенная, влюблённая девушка, называет жаворонка грубым словом «горлодёр»?
5. Какие трагические предчувствия звучат в диалоге влюблённых (сцена 5, акт 3)?



Работа в парах. Подготовьте выразительное чтение по ролям сцены из трагедии «Ромео и Джульетта».

Сонеты

Сонёт — стихотворение из 14 строк. Итальянский сонет разделён на два четверостишия и два трёхстишия. Английский сонет состоит из трёх четверостиший и заключительного двустишия.

Познакомьтесь с содержанием сонетов В. Шекспира и ответьте на вопросы.

76. «Увы, мой стих не блещет новизной...»

Увы, мой стих не блещет новизной,
Разнообразьем перемен неожиданных.
Не поискать ли мне тропы иной,
Приёмов новых, сочетаний странных?

Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова,
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.

Всё это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу.

Всё то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

Перевод С. Маршака



Размышляем о прочитанном

1. Какие чувства вы отнесли бы к вечным и всегда обретающим новизну с каждым человеком? Назовите свои любимые стихотворения, посвящённые вечным темам. Чем они вам дороги?
2. Что вы можете сказать о лирическом герое шекспировского сонета, о характере его отношений к возлюбленной?



Обогащаем свою речь

Объясните значение слов и словосочетаний: *новизна, разнообразье перемен, приёмов новых* и т. д.



Учимся читать выразительно

1. Прочитайте выразительно сонет, обратив внимание на иронию и поставленные поэтом на первое место вечные ценности, всегда остающиеся новыми.
2. Подготовьте выразительное чтение сонета, передав лживость пышных книжных сравнений и искренность, непосредственность чувств лирического героя.

Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьётся прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щёк.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдёшь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Перевод С. Маршака

В поэзии существуют навсегда устоявшиеся сравнения, ставшие штампами. Какие поэтические штампы перечисляет Шекспир, которые он не хотел бы использовать, говоря о своей возлюбленной?



Жан-Батист МОЛЬЕР

1622—1673

Жан-Батист Поклен, вошедший в литературу под именем Мольера, — французский актёр и драматург, один из величайших комедиографов мировой литературы.

Мольер родился в Париже в семье придворного обойщика. Он получил хорошее образование в привилегированном учебном заведении — Клермонском коллеже, однако свой диплом юриста Мольер променял на любимую профессию, став актёром, что с детства было его заветной мечтой. Вместе с друзьями и единомышленниками Мольер создал труппу актёров и открыл в Париже «Блистательный театр». Это был ранний период в истории французского театра, и начинание молодых энтузиастов провалилось, труппа разорилась, а театр пришлось закрыть. Начиная с 1646 года в течение 13 лет Мольер вместе с труппой бродячих актёров разъезжает по Франции. Мольер был блестящим актёром и поначалу не задумывался о литературном творчестве, но бедность репертуара труппы заставила его взяться за перо. Вначале он лишь переделывал итальянские фарсы, но, неожиданно почувствовав в себе талант драматурга, занялся самостоятельным творчеством. В это время ему было немногим более 30 лет. Во время скитаний по Франции труппа Мольера выступала и на ярмарках, и в богатых поместьях. Драматург знакомился с вельможами и простолюдными, приобретал жизненный и сценический опыт. В 1658 году труппа Мольера получила возможность остаться в Париже.

Мольер считал своим долгом исправлять нравы, совершенствовать человеческую природу; во всех своих комедиях драматург разоблачает низкие человеческие страсти. Все персонажи Мольера — носители какой-нибудь одной ведущей черты, как требовали законы классицизма. В «Дон Жуане» (1665) разоблачается распущенность и эгоизм, уничтожающий все лучшие челове-

ские чувства; в комедии «Скупой» (1668) — скупость в её крайнем проявлении; в комедии «Мещанин во дворянстве» — тщеславие; в комедии «Мнимый больной» (1670) — глупость доверчивых пациентов и невежественность докторов-шарлатанов.

Характерным приёмом соединения традиций и новаторства был разработанный Мольером жанр комедии-балета, сочетающий драматическое действие с танцами и музыкой. К этому жанру относится наиболее известное у нас произведение Мольера «Мещанин во дворянстве». В этой комедии Мольер высмеивает один из древнейших пороков человечества — тщеславие. Разбогатевшему мещанину Журдену для полного счастья необходимо дворянское звание. И он готов купить его за наличные. Комедия осуждает тех, кто пренебрежительно относится к своему происхождению, к традициям своего класса. Не почётное звание делает человека человеком, а его личные качества. Попытка занять не своё, а чужое место делает порядочного человека смешным и жалким, отдаёт его во власть мошенников. В жизни надо заниматься своим делом, и это всегда будет почётным и достойным.

Комедии Мольера не потеряли своей актуальности и до настоящего времени. Более трёхсот лет они не сходят с подмостков театров всего мира, а начиная с петровских времён — и с русской сцены.



Творческое задание

Публичное выступление. Подготовьте устное сообщение о жизни и творчестве Ж.-Б. Мольера, используя статью учебника и ресурсы Интернета.

Мещанин во дворянстве

*Комедия в пяти действиях
(с сокращениями)*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА КОМЕДИИ

Г-н Журден,
мещанин.

Г-жа Журден,
его жена.

Люсиль,
их дочь.

Клеонт,
молодой человек, влюблённый в Люсиль.

Доримена,
маркиза.
Дорант,
граф, влюблённый в Доримену.
Николь,
служанка в доме г-на Журдена.
Ковъель,
слуга Клеонта.
Учитель музыки.
Ученик учителя музыки.
Учитель танцев.
Учитель фехтования.
Учитель философии.
Музыканты.
Портной.
Подмастерье портного.
Два лакея.
Три пажа.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА БАЛЕТА

В первом действии

Певица.
Два певца.
Танцовщики.

Во втором действии

Портновские подмастерья
(танцуют).

В третьем действии

Повара
(танцуют).

В четвёртом действии

Муфтий¹.
Турки, свита муфтия
(поют).
Дервиши²
(поют).
Турки
(танцуют).

Действие происходит в Париже, в доме г-на Журдена.

¹ *Муфтий* — у мусульман учёный-юрист, знаток богословия.

² *Дервиши* — нищенствующие мусульманские монахи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Увертюра исполняется множеством инструментов; посреди сцены за столом ученик учителя музыки сочиняет мелодию для серенады, заказанной г-ном Журденом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Учитель музыки, учитель танцев, два певца, певица, два скрипача, четыре танцовщика.

Учитель музыки (*певцам и музыкантам*). Пожалуйте сюда, вот в эту залу, отдохните до его прихода.

Учитель танцев (*танцовщикам*). И вы тоже, станьте с этой стороны.

Учитель музыки (*ученику*). Готово?

Ученик. Готово.

Учитель музыки. Посмотрим... Очень недурно.

Учитель танцев. Что-нибудь новенькое?

Учитель музыки. Да, я велел ученику, пока наш чудак проснётся, сочинить музыку для серенады.

Учитель танцев. Можно посмотреть?

Учитель музыки. Вы это услышите вместе с диалогом, как только явится хозяин. Он скоро выйдет.

Учитель танцев. Теперь у нас с вами дела выше головы.

Учитель музыки. Ещё бы! Мы нашли именно такого человека, какой нам нужен. Господин Журден с его помешательством на дворянстве и на светском обхождении — это для нас просто клад. Если б все на него сделались похожи, то вашим танцам и моей музыке больше и желать было бы нечего.

Учитель танцев. Ну, не совсем. Мне бы хотелось, для его же блага, чтоб он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы ему толкуем.

Учитель музыки. Разбирается-то он в них плохо, да зато хорошо платит, а наши искусства ни в чём сейчас так не нуждаются, как именно в этом.

Учитель танцев. Признаюсь, я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне удовольствие, расточать же своё искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана — это, на мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Что ни говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведений и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Да, самая приятная награда — видеть, что творение ваше признано, что вас чествуют за него

рукоплесканиями. По-моему, это наилучшее воздаяние за все наши тяготы, — похвала просвещённого человека доставляет наслаждение неизъяснимое.

Учитель музыки. Я с этим согласен, я тоже люблю похвалы. В самом деле, нет ничего более лестного, чем рукоплескания, но ведь на фимиам не проживёшь. Одних похвал человеку недостаточно, ему давай чего-нибудь посущественнее. Лучший способ поощрения — это вложить вам что-нибудь в руку. Откровенно говоря, познания нашего хозяина невелики, судит он обо всём вкривь и вкось и рукоплещет там, где не следует, однако ж деньги выпрямляют кривизну его суждений, его здравый смысл находится в кошельке, его похвалы отчеканены в виде монет, так что от невежественного этого мещанина нам, как видите, куда больше пользы, чем от того просвещённого вельможи, который нас сюда ввёл.

Учитель танцев. В ваших словах есть некоторая доля истины, но только, мне кажется, вы придаёте деньгам слишком большое значение; между тем корысть есть нечто до такой степени низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности.

Учитель музыки. Однако у нашего чудака вы преспокойно берёте деньги.

Учитель танцев. Конечно, беру, но деньги для меня не главное. Если б к его богатству да ещё хоть немного хорошего вкуса — вот чего бы я желал.

Учитель музыки. Я тоже, ведь мы оба по мере сил этого добиваемся. Но, как бы то ни было, благодаря ему на нас стали обращать внимание в обществе, а что другие будут хвалить, то он оплатит.

Учитель танцев. А вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, г-н Журден, в халате и ночном колпаке, и два лакея.

Г-н Журден. Ну, господа? Как там у вас? Покажете вы мне нынче вашу безделку?

Учитель танцев. Что? Какую безделку?

Г-н Журден. Ну, эту самую... Как это у вас называется? Не то пролог, не то диалог с песнями и пляской.

Учитель танцев. О! О!

Учитель музыки. Как видите, мы готовы.

Г-н Журден. Я немного замешкался, но дело вот в чём: одеваюсь я теперь, как одевается знать, и мой портной прислал мне шёлковые чулки, до того узкие — право, я уж думал, что мне их так никогда и не натянуть.

Учитель музыки. Мы всецело к вашим услугам.

Г-н Журден. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм: я хочу, чтоб вы на меня поглядели.

Учитель танцев. Как вам будет угодно.

Г-н Журден. Вы увидите, что теперь я с ног до головы одет как должно.

Учитель музыки. Мы в этом нисколько не сомневаемся.

Г-н Журден. Я сделал себе из индийской ткани халат.

Учитель танцев. Отличный халат.

Г-н Журден. Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит такие халаты.

Учитель музыки. Он вам удивительно идёт.

Г-н Журден. Лакей! Эй, два моих лакея!

Первый лакей. Что прикажете, сударь?

Г-н Журден. Ничего не прикажу. Я только хотел проверить, как вы меня слушаетесь. (*Учителю музыки и учителю танцев.*) Как вам нравятся их ливреи?

Учитель танцев. Великолепные ливреи.

Г-н Журден (*распахивает халат; под ним у него узкие, красного бархата штаны и зелёного бархата камзол*). А вот мой домашний костюмчик для утренних упражнений.

Учитель музыки. Бездна вкуса!

Г-н Журден. Лакей!

Первый лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден. Другой лакей!

Второй лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден (*снимает халат*). Держите. (*Учителю музыки и учителю танцев.*) Ну что, хорош я в этом наряде?

Учитель танцев. Очень хороши. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Теперь займёмся с вами.

Учитель музыки. Прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы прослушали музыку, которую вот он (*указывает на ученика*) написал для заказанной вами серенады. Это мой ученик, у него к таким вещам изумительные способности.

Г-н Журден. Очень может быть, но всё-таки не следовало поручать это ученику. Ещё неизвестно, годитесь ли вы сами для такого дела, а не то что ученик.

Учитель музыки. Слово «ученик» не должно вас смущать, сударь. Подобного рода ученики смыслят в музыке не меньше великих мастеров. В самом деле, чудеснее мотива не придумаешь. Вы только послушайте.

Г-н Журден (*лакеям*). Дайте халат, так удобней слушать... Впрочем, постойте, пожалуй, лучше без халата. Нет, подайте халат, так будет лучше.

Певица.

Ирида¹! Я томлюсь, меня страданье губит,
 Меня ваш строгий взгляд пронзил, как острый меч.
 Когда вы мучите того, кто вас так любит,
 Сколь вы страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь!

Г-н Журден. По-моему, это довольно заунывная песня, от неё ко сну клонит. Я бы вас попросил сделать её чуть-чуть веселее.

Учитель музыки. Мотив должен соответствовать словам, сударь.

Г-н Журден. Меня недавно обучили премилой песенке. Погодите... сейчас-сейчас... Как же она начинается?

Учитель танцев. Право, не знаю.

Г-н Журден. Там ещё про овечку говорится.

Учитель танцев. Про овечку?

Г-н Журден. Да-да. Ах, вот! (*Поёт.*)

Жанетту я считал
 И доброй и прекрасной,
 Жанетту я считал овечкою, но — ах! —
 Она коварна и опасна,
 Как львица в девственных лесах!

Правда, славная песенка?

Учитель музыки. Ещё бы не славная!

Учитель танцев. И вы хорошо её поёте.

Г-н Журден. А ведь я музыке не учился.

Учитель музыки. Вам бы хорошо, сударь, поучиться не только танцам, но и музыке. Эти два рода искусства связаны между собой неразрывно.

Учитель танцев. Они развивают в человеке чувство изящного.

Г-н Журден. А что, знатные господа тоже учатся музыке?

Учитель музыки. Конечно, сударь.

Г-н Журден. Ну так и я стану учиться. Вот только не знаю когда: ведь, кроме учителя фехтования, я ещё нанял учителя философии — он должен нынче утром начать со мной заниматься.

Учитель музыки. Философия — материя важная, но музыка, сударь, музыка...

¹ *Ирида* — крылатая вестница богов в греческой мифологии.

Учитель танцев. Музыка и танцы... Музыка и танцы — это всё, что нужно человеку.

Учитель музыки. Нет ничего более полезного для государства, чем музыка.

Учитель танцев. Нет ничего более необходимого человеку, чем танцы.

Учитель музыки. Без музыки государство не может существовать.

Учитель танцев. Без танцев человек ничего не умел бы делать.

Учитель музыки. Все распри, все войны на земле происходят единственно от незнания музыки.

Учитель танцев. Все людские невзгоды, все злоключения, которыми полна история, оплошности государственных деятелей, ошибки великих полководцев — всё это проистекает единственно от неумения танцевать.

Г-н Журден. Как так?

Учитель музыки. Война возникает из-за несогласия между людьми, не правда ли?

Г-н Журден. Верно.

Учитель музыки. А если бы все учились музыке, разве это не настроило бы людей на мирный лад и не способствовало бы воцарению на земле всеобщего мира?

Г-н Журден. И то правда.

Учитель танцев. Когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или же государственный деятель, или же военачальник, про него обыкновенно говорят, что он сделал неверный шаг, не правда ли?

Г-н Журден. Да, так говорят.

Учитель танцев. А чем ещё может быть вызван неверный шаг, как не неумением танцевать?

Г-н Журден. Да, с этим я тоже согласен. Вы оба правы.

Учитель танцев. Всё это мы говорим для того, чтобы вы себе уяснили преимущества и пользу танцев и музыки.

Г-н Журден. Теперь я понимаю.

Учитель музыки. Угодно вам ознакомиться с нашими сочинениями?

Г-н Журден. Угодно.

Учитель музыки. Как я вам уже говорил, это давнишняя моя попытка выразить все страсти, какие только способна передать музыка.

Г-н Журден. Прекрасно.



«Мещанин во дворянстве». Художник Л. Нижний

Учитель музыки (*певцам*). Пожалуйста сюда. (*Г-ну Журдену.*)
Вы должны вообразить, что они одеты пастушкѣми.

Г-н Журден. И что это всегда пастушкѣи? Вечно одно и то же.

Учитель танцев. Когда говорят под музыку, то для большего правдоподобия приходится обращаться к пасторали¹. Пастухам испокон веку приписывали любовь к пению; с другой стороны, было бы весьма ненатурально, если бы принцы или мещане стали выражать свои чувства в пении.

Г-н Журден. Ладно, ладно. Посмотрим.

Музыкальный диалог

Певица и два певца.

Певица.

Сердца в любовном упоенье
Всегда встречают тысячи помех.
Любовь приносит нам и счастье и томленье.
Недаром есть такое мненье,
Что нам милей всего — не знать любви утех.

¹ *Пастораль* — поэтическое произведение, изображающее в слащавом духе любовь пастухов и пастушек на вечнозелёных лугах, где пасутся белорунные (имеющие белую шерсть) овцы.

Первый певец.

Нет, нам всего милей та радость без конца,
Которая сердца
Любовников сливает.
Блаженству на земле без страсти не бывать.
Любовью кто пренебрегает,
Тому и счастья не знать.

Второй певец.

О, кто бы не хотел любви изведать власть,
Когда бы не была обманчивою страсть!
Но — ах! — как быть со злой судьбиной?
Здесь верной нет пастушки ни единой,
И недостойный пол, позоря белый свет,
Свидетельствует нам, что верности уж нет.

Первый певец.

О сердца дрожь!

Певица.

О страсть во взорах!

Второй певец.

Сплошная ложь!

Первый певец.

Тот миг мне дорог!

Певица.

Они полны утех.

Второй певец.

Я презираю всех!

Первый певец.

О, не сердись, забудь свой гнев безмерный!

Певица.

Мы приведём тебя сейчас
К пастушке любящей и верной.

Второй певец.

Увы! Достойных нет средь вас!

Певица.

Я иду на испытанье —
Вот тебе моя любовь.

Второй певец.

Кто поручится заране,
Что не быть обману вновь?

Певица.

Тот, кто верен, пусть докажет
Свой сердечный нежный пыл.

Второй певец.

Небо пусть того накажет,
Кто постыдно изменил.

Все трое вместе.

Над нами, пламенея,
Любви горит венец.
Слиянье двух сердец —
Что может быть милее?

Г-н Журден. И это всё?

Учитель музыки. Всё.

Г-н Журден. По-моему, ловко закручено. Кое-где попадаются очень занятные словечки.

Учитель танцев. А теперь моя очередь: я вам предложу небольшой образчик самых изящных телодвижений и самых изящных поз, из каких только может состоять танец.

Г-н Журден. Опять пастухи?

Учитель танцев. Это уж как вам будет угодно. (*Танцовщикам.*)
Начинайте.

БАЛЕТ

Четыре танцовщика по указаниям учителя танцев делают различные движения и исполняют всевозможные па.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, лакей.

Г-н Журден. Э, да ладно, деритесь, сколько хотите! Моё дело — сторона, я разнимать вас не стану, а то ещё халат с вами разорвёшь. Набитым дураком надо быть, чтобы с ними связываться: не ровён час, так огреют, что своих не узнаешь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и учитель философии.

Учитель философии (*оправляя воротник*). Приступим к уроку.

Г-н Журден. Ах, господин учитель, как мне досадно, что они вас побили!

Учитель философии. Пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатиру в духе Ювенала¹, и эта сатира их совершенно уничтожит. Но довольно об этом. Итак, чему же вы хотите учиться?

Г-н Журден. Чему только смогу, ведь я смерть как хочу стать учёным, и такое зло меня берёт на отца и мать, что меня с малолетства не обучали всем наукам!

Учитель философии. Это понятное чувство, *nam sine doctrina vita est quasi mortis imago*. Вам это должно быть ясно, потому что вы, уж верно, знаете латынь.

Г-н Журден. Да, но вы всё-таки говорите так, как будто я её не знаю. Объясните мне, что это значит.

Учитель философии. Это значит: без науки жизнь есть как бы подобие смерти.

Г-н Журден. Латынь говорит дело.

Учитель философии. У вас есть основы, начатки каких-либо познаний?

Г-н Журден. А как же, я умею читать и писать.

Учитель философии. С чего вам угодно будет начать? Хотите, я обучу вас логике?

Г-н Журден. А что это за штука — логика?

Учитель философии. Это наука, которая учит нас трём процессам мышления.

Г-н Журден. Кто же они такие, эти три процесса мышления?

Учитель философии. Первый, второй и третий. Первый заключается в том, чтобы составлять себе правильное представление о вещах при посредстве универсалий, второй — в том, чтобы верно о них судить при посредстве категорий, и, наконец, третий — в том, чтобы делать правильное умозаключение при посредстве фигур: *Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipon*² и так далее.

¹ Ювенал Деций Юний (60—140) — римский поэт-сатирик.

² Латинские слова, условно обозначающие различные виды умозаключений в формальной логике.

Г-н Журден. Уж больно слова-то заковыристые. Нет, логика мне не подходит. Лучше что-нибудь позавлекательнее.

Учитель философии. Хотите, займёмся этикой?

Г-н Журден. Этикой?

Учитель философии. Да.

Г-н Журден. А про что она, эта самая этика?

Учитель философии. Она трактует о счастье жизни, учит людей умерять свои страсти и...

Г-н Журден. Нет, не надо. Я вспылываю как сто чертей, и никакая этика меня не удержит: когда меня разбирает злость, я желаю беситься сколько влезет.

Учитель философии. Может быть, вас прельщает физика?

Г-н Журден. А физика — это насчёт чего?

Учитель философии. Физика изучает законы внешнего мира и свойства тел, толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, растений, животных и объясняет причины всевозможных атмосферных явлений, как то: радуги, блуждающих огней, комет, зарниц, грома, молнии, дождя, снега, града, ветров и вихрей.

Г-н Журден. Слишком много трескотни, слишком много всего наворочено.

Учитель философии. Так чем же вы хотите заняться?

Г-н Журден. Займитесь со мной правописанием.

Учитель философии. С удовольствием.

Г-н Журден. Потом научите меня узнавать по календарю, когда бывает луна, а когда нет.

Учитель философии. Хорошо. Если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то, дабы вполне удовлетворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв и о различных способах их произнесения. Прежде всего я должен вам сообщить, что буквы делятся на гласные, названные так потому, что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так потому, что произносятся с помощью гласных и служат лишь для обозначения различных изменений голоса. Существует пять гласных букв, или, иначе, голосовых звуков: А, Е, И, О, У.

Г-н Журден. Это мне всё понятно.

Учитель философии. Чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот: А.

Г-н Журден. А, А. Так!

Учитель философии. Чтобы произнести звук Е, нужно приблизить нижнюю челюсть к верхней: А, Е.

Г-н Журден. А, Е, А, Е. В самом деле! Вот здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести звук И, нужно ещё больше сблизить челюсти, а углы рта оттянуть к ушам: А, Е, И.

Г-н Журден. А, Е, И, И, И. Верно! Да здравствует наука!

Учитель философии. Чтобы произнести звук О, нужно раздвинуть челюсти, а углы губ сблизить: О.

Г-н Журден. О, О. Истинная правда! А, Е, И, О, И, О. Удивительное дело! И, О, И, О.

Учитель философии. Отверстие рта принимает форму того самого кружка, посредством коего изображается звук О.

Г-н Журден. О, О, О. Вы правы, О. Как приятно знать, что ты что-то узнал!

Учитель философии. Чтобы произнести звук У, нужно приблизить верхние зубы к нижним, не стискивая их, однако ж, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты: У.

Г-н Журден. У, У. Совершенно справедливо! У.

Учитель философии. Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. Вот почему, если вы пожелаете в насмешку над кем-либо состроить рожу, вам стоит только сказать: У.

Г-н Журден. У, У. Верно! Эх, зачем я не учился прежде! Я бы всё это уже знал.

Учитель философии. Завтра мы разберём другие буквы, так называемые согласные.

Г-н Журден. А они такие же занятные, как и эти?

Учитель философии. Разумеется. Когда вы произносите звук Д, например, нужно, чтобы кончик языка упёрся в верхнюю часть верхних зубов: ДА.

Г-н Журден. ДА, ДА. Так! Ах, до чего же здорово, до чего же здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести Ф, нужно прижать верхние зубы к нижней губе: ФА.

Г-н Журден. ФА, ФА. И то правда! Эх, батюшка с матушкой, ну как тут не помянуть вас лихом!

Учитель философии. А чтобы произнести звук Р, нужно приставить кончик языка к верхнему нёбу, однако ж под напором воздуха, с силою вырывающегося из груди, язык беспрестанно возвращается на прежнее место, отчего происходит некоторое дрожание: Р-РА.

Г-н Журден. Р-Р-РА, Р-Р-Р-РА. Какой же вы молодчина! А я-то сколько времени потерял даром! Р-Р-РА.

Учитель философии. Все эти любопытные вещи я объясню вам до тонкостей.

Г-н Журден. Будьте настолько любезны! А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблён в одну великосветскую даму, и мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к её ногам.

Учитель философии. Отлично.

Г-н Журден. Ведь правда, это будет учтиво?

Учитель философии. Конечно. Вы хотите написать ей стихи?

Г-н Журден. Нет-нет, только не стихи.

Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?

Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.

Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.

Г-н Журден. Почему?

Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе как прозой или стихами.

Г-н Журден. Не иначе как прозой или стихами?

Учитель философии. Не иначе, сударь. Всё, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза.

Г-н Журден. А когда мы разговариваем, это что же такое будет?

Учитель философии. Проза.

Г-н Журден. Что? Когда я говорю: «Николь! Принеси мне туфли и ночной колпак», это проза?

Учитель философии. Да, сударь.

Г-н Журден. Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой. Большое вам спасибо, что сказали. Так вот что я хочу ей написать: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви», но только нельзя ли это же самое сказать полюбознее, как-нибудь этак покрасивее выразиться?

Учитель философии. Напишите, что пламя её очей испепелило вам сердце, что вы день и ночь терпите из-за неё столь тяжкие...

Г-н Журден. Нет-нет-нет, это всё не нужно. Я хочу написать ей только то, что я вам сказал: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Учитель философии. Следовало бы чуть-чуть подлиннее.

Г-н Журден. Да нет, говорят вам! Я не хочу, чтобы в записке было что-нибудь, кроме этих слов, но только их нужно расставить как следует, как нынче принято. Приведите мне, пожалуйста, несколько примеров, чтобы мне знать, какого порядка лучше придержива-
ться.

Учитель философии. Порядок может быть, во-первых, тот, который вы установили сами: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви». Или: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза». Или: «Прекрасные ваши глаза от любви мне сулят, прекрасная маркиза, смерть». Или: «Смерть ваши прекрасные глаза, прекрасная маркиза, от любви мне сулят». Или: «Сулят мне прекрасные глаза ваши, прекрасная маркиза, смерть».

Г-н Журден. Какой же из всех этих способов наилучший?

Учитель философии. Тот, который вы избрали сами: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Г-н Журден. А ведь я ничему не учился и вот всё ж таки придумал в один миг. Покорно вас благодарю. Приходите, пожалуйста, завтра пораньше.

Учитель философии. Не премину. (*Уходит.*) <...>

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, два лакея.

Г-н Журден. Идите за мной: я хочу пройтись по городу в новом костюме, да только смотрите не отставайте ни на шаг, чтоб все видели, что вы мои лакеи.

Лакей. Слушаем, сударь.

Г-н Журден. Позовите сюда Николь — мне нужно отдать ей кое-какие распоряжения. Стойте, она сама идёт.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Николь.

Г-н Журден. Николь!

Николь. Что угодно?

Г-н Журден. Послушай...

Николь (*хохочет*). Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Чего ты смеёшься?

Николь. Хи-хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что с тобой, бесстыдница?

Николь. Хи-хи-хи! На кого вы похожи! Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что такое?

Николь. Ах, боже мой! Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Экая нахалка! Ты это надо мной смеёшься?

Н и к о л ь. Ни-ни, сударь, даже не думала. Хи-хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Посмей-ка ещё — уж и влетит тебе от меня!

Н и к о л ь. Ничего не могу с собой поделаться, сударь. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Перестанешь ты или нет?

Н и к о л ь. Извините, сударь, но вы такой уморительный, что я не могу удержаться от смеха. Хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Нет, вы подумайте, какая наглость!

Н и к о л ь. До чего ж вы сейчас смешной! Хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Я тебя...

Н и к о л ь. Извините, пожалуйста. Хи-хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Послушай: если ты сию секунду не перестанешь, клянусь, я закачу тебе такую оплеуху, какой ещё никто на свете не получал.

Н и к о л ь. Коли так, сударь, можете быть спокойны: не буду больше смеяться.

Г-н Ж у р д е н. Ну смотри! Сейчас ты мне уберёшь...

Н и к о л ь. Хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Уберёшь как следует...

Н и к о л ь. Хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Уберёшь, говорю, как следует залу и...

Н и к о л ь. Хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Ты опять?

Н и к о л ь (*валится от хохота*). Нет уж, сударь, лучше побейте меня, но только дайте посмеяться вдоволь — так мне будет легче. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Ты меня доведёшь!

Н и к о л ь. Смилуйтесь, сударь, дайте мне посмеяться. Хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Вот я тебя сейчас...

Н и к о л ь. Су... ударь... я лоп... лопну, если не похохочу. Хи-хи-хи!

Г-н Ж у р д е н. Видали вы такую подлянку? Вместо того чтобы выслушать мои приказания, нагло смеётся мне в лицо!

Н и к о л ь. Что же вам угодно, сударь?

Г-н Ж у р д е н. Мне угодно, чтобы ты, мошенница, потрудилась навести в доме чистоту: ко мне скоро гости будут.

Н и к о л ь (*встаёт*). Вот мне уже и не до смеху, честное слово! Ваши гости наделают всегда такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска.

Г-н Ж у р д е н. Что ж, мне из-за тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых?

Н и к о л ь. По крайней мере, от некоторых.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и г-жа Журден.

Г-жа Журден. Ах, ах! Это ещё что за новости? Что это на тебе, муженёк, за наряд? Верно, вздумал посмешить людей, коли вырядился таким шутком? Хочешь, чтобы все на тебя пальцем показывали?

Г-н Журден. Разве одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцем.

Г-жа Журден. Да уж и показывают: твои повадки давно всех смешат.

Г-н Журден. Кого это «всех», позволь тебя спросить?

Г-жа Журден. Всех благоразумных людей, всех, которые поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завёл. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник: с самого утра то и знай пиликают на скрипках, песни орут, — соседям и тем покою нет.

Николь. И то правда, сударыня. Мне не под силу будет поддерживать в доме чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи наносят прямо со всего города. Бедная Франсуаза вконец измучилась: любезные ваши учителя наследят, а она каждый божий день мой после них полы.

Г-н Журден. Ого! Вот так служанка Николь! Простая мужичка, а ведь до чего же языкастая!

Г-жа Журден. Николь права: ума-то у неё побольше, чем у тебя. Хотела бы я знать, на что тебе, в твои годы, понадобился учитель танцев?

Николь. И ещё этот верзила фехтовальщик — он так топочет, что весь дом трясётся, а в зале, того и гляди, весь паркет повыворотит.

Г-н Журден. Молчать, и ты, служанка, и ты, жена!

Г-жа Журден. Стало быть, ты задумал учиться танцевать? Нашёл когда: у самого скоро ноги отнимутся.

Николь. Может статься, вам припала охота кого-нибудь убить?

Г-н Журден. Молчать, говорят вам! Обе вы невежды. Вам невдомёк, какие это мне даёт пре-ро-га-тивы¹?

Г-жа Журден. Лучше бы подумал, как дочку пристроить: ведь она уж на выданье.

Г-н Журден. Подумаю я об этом, когда представится подходящая партия. А пока что я хочу думать о том, как бы мне разным хорошим вещам научиться.

¹ *Прерогатива* — исключительное право, привилегия.

Н и к о л ь. Я ещё слыхала, сударыня, что нынче в довершение всего хозяин нанял учителя философии.

Г-н Ж у р д е н. Совершенно верно. Хочу понабраться ума-разума, чтоб мог я о чём угодно беседовать с порядочными людьми.

Г-ж а Ж у р д е н. Не поступить ли тебе в один прекрасный день в школу, чтоб тебя там розгами драли на старости лет?

Г-н Ж у р д е н. А что ж тут такого? Пусть меня выдерут хоть сейчас, при всех, лишь бы знать всё то, чему учат в школе!

Н и к о л ь. Да, это бы вам пошло на пользу.

Г-н Ж у р д е н. Без сомнения.

Г-ж а Ж у р д е н. В хозяйстве тебе всё это вот как пригодится!

Г-н Ж у р д е н. Непременно пригодится. Обе вы несёте дичь, мне стыдно, что вы такие необразованные. (*Г-же Журден.*) Вот, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь?

Г-ж а Ж у р д е н. Конечно. Я знаю, что говорю дело и что тебе надо начать жить по-другому.

Г-н Ж у р д е н. Я не о том толкую. Я спрашиваю: что такое эти слова, которые ты сейчас сказала?

Г-ж а Ж у р д е н. Слова-то мои разумные, а вот поведение твоё очень даже неразумное.

Г-н Ж у р д е н. Говорят тебе, я не о том толкую. Я вот о чём спрашиваю: то, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сказал сейчас, — что это такое?

Г-ж а Ж у р д е н. Глупости.

Г-н Ж у р д е н. Да нет, ты меня не понимаешь. То, что мы оба говорим, вся наша с тобой речь?

Г-ж а Ж у р д е н. Ну?

Г-н Ж у р д е н. Как это называется?

Г-ж а Ж у р д е н. Всё равно, как ни назвать.

Г-н Ж у р д е н. Невежда, это проза!

Г-ж а Ж у р д е н. Проза?

Г-н Ж у р д е н. Да, проза. Всё, что проза, то не стихи, а всё, что не стихи, то проза. Видала? Вот что значит учёность! (*К Николь.*) Ну а ты? Тебе известно, как произносится У?

Н и к о л ь. Как произносится?

Г-н Ж у р д е н. Да. Что ты делаешь, когда говоришь У?

Н и к о л ь. Чего?

Г-н Ж у р д е н. Попробуй сказать У.

Н и к о л ь. Ну, У.

Г-н Ж у р д е н. Что же ты делаешь?

Н и к о л ь. Говорю: У.

Г-н Журден. Да, но, когда ты говоришь У, что ты в это время делаешь?

Николь. То и делаю, что вы велели.

Г-н Журден. Вот поговори-ка с дурами. Ты вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней: У. Видишь? Я корчу рожу: У.

Николь. Да, нечего сказать, ловко.

Г-жа Журден. И впрямь чудеса!

Г-н Журден. Вы бы ещё не то сказали, ежели б увидали О, ДА-ДА и ФА-ФА!

Г-жа Журден. Что это за галиматья?

Николь. На что это всё нужно?

Г-н Журден. Эти дуры хоть кого выведут из себя.

Г-жа Журден. Вот что, гони-ка ты своих учителей в шею и со всей их тарабарщиной.

Николь. А главное, эту громадину — учителя фехтования: от него только пыль столбом.

Г-н Журден. Скажи на милость! Дался вам учитель фехтования! Вот я тебе сейчас докажу, что ты ничего в этом не смыслишь. *(Велит подать рапиры и одну из них протягивает Николь.)* Вот, смотри: наглядный пример, линия тела. Когда тебя колют квартой, то надо делать так, а когда терсом, то вот так. Тогда тебя никто уж не убьёт, а во время драки это самое важное — знать, что ты в безопасности. А ну попробуй, кольни меня разок!

Николь. Что ж, и кольну! *(Несколько раз колет г-на Журдена.)*

Г-н Журден. Да тише ты! Эй, эй! Осторожней! Чёрт бы тебя побрал, скверная девчонка!

Николь. Вы же сами велели вас колоть.

Г-н Журден. Да, но ты сперва колешь терсом, вместо того чтобы квартой, и у тебя не хватает терпения подождать, пока я отпарирую.

Г-жа Журден. Ты помешался на всех этих причудах, муженёк. И началось это у тебя с тех пор, как ты вздумал водиться с важными господами.

Г-н Журден. В том, что я вожусь с важными господами, виден мой здравый смысл: это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами.

Г-жа Журден. Да уж, нечего сказать: прок от того, что ты подружился с дворянами, ох как велик! Взять хоть этого распрекрасного графа, от которого ты без ума: до чего же выгодное знакомство!

Г-н Журден. Молчать! Думай сначала, а потом давай волю языку. Знаешь ли ты, жена, что ты не знаешь, о ком говоришь, когда говоришь

о нём? Ты себе не представляешь, какое это значительное лицо: он настоящий вельможа, вхож во дворец, с самим королём разговаривает, вот как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моём доме, называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге? Никому и в голову не придёт, какие услуги оказывает мне граф, а при всех он до того бывает со мною ласков, что мне, право, становится неловко.

Г-жа Журден. Да, он оказывает тебе услуги, он с тобою ласков, но и денежки у тебя занимает.

Г-н Журден. Ну и что ж? Разве это для меня не честь — дать взаймы такому знатному господину? Могу ли я вельможе, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке?

Г-жа Журден. А какие такие одолжения делает этот вельможа тебе?

Г-н Журден. Такие, что, кому сказать, никто не поверит.

Г-жа Журден. Например?

Г-н Журден. Ну уж этого я тебе не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна, и очень даже скоро.

Г-жа Журден. Как же, дожидайся!

Г-н Журден. Наверняка. Он сам мне говорил!

Г-жа Журден. Держи карман шире.

Г-н Журден. Он дал мне честное слово дворянина.

Г-жа Журден. Враки!

Г-н Журден. Ух! Ну и упрямая ты, жена! А я тебе говорю, что он своё слово сдержит, я в этом уверен.

Г-жа Журден. А я уверена, что не сдержит и что все его любезности — один обман и ничего более.

Г-н Журден. Замолчи! Вот как раз и он.

Г-жа Журден. Этого только не доставало! Верно, опять пришёл просить у тебя в долг. Глядеть на него тошно.

Г-н Журден. Молчать, тебе говорят!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Те же и Дорант.

Дорант. Здравствуйте, господин Журден! Как поживаете, любезный друг?

Г-н Журден. Отлично, ваше сиятельство. Милости прошу.

Дорант. А госпожа Журден как поживает?

Г-жа Журден. Госпожа Журден живёт помаленьку.

Дорант. Однако, господин Журден, каким вы сегодня франтом!

Г-н Журден. Вот, поглядите.

Дорант. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы.

Г-н Журден. Хе-хе!

Г-жа Журден (*в сторону*). Знает, как в душу влезть.

Дорант. Повернитесь. Верх изящества.

Г-жа Журден (*в сторону*). Да, сзади такой же дурак, как и спереди.

Дорант. Даю вам слово, господин Журден, у меня было необычайно сильное желание с вами повидаться. Я питаю к вам совершенно особое уважение: не далее как сегодня утром я говорил о вас в королевской опочивальне.

Г-н Журден. Много чести для меня, ваше сиятельство. (*Г-же Журден.*) В королевской опочивальне!

Дорант. Наденьте же шляпу.

Г-н Журден. Я вас слишком уважаю, ваше сиятельство.

Дорант. Боже мой, да наденьте же! Пожалуйста, без церемоний.

Г-н Журден. Ваше сиятельство...

Дорант. Говорят вам, наденьте, господин Журден: ведь вы мой друг.

Г-н Журден. Ваше сиятельство! Я ваш покорный слуга.

Дорант. Если вы не наденете шляпу, тогда и я не надену.

Г-н Журден (*надевая шляпу*). Лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым.

Дорант. Как вам известно, я ваш должник.

Г-жа Журден (*в сторону*). Да, нам это слишком хорошо известно.

Дорант. Вы были так великодушны, что неоднократно давали мне в долги, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность.

Г-н Журден. Шутить изволите, ваше сиятельство.

Дорант. Однако ж я почитаю непременно своею обязанностью платить долги и умею ценить оказываемые мне любезности.

Г-н Журден. Я в этом не сомневаюсь.

Дорант. Я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Ну что, жена? Видишь, какую ты на него взвела напраслину?

Дорант. Я люблю расплачиваться как можно скорее.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). А что я тебе говорил?

Дорант. Итак, посмотрим, сколько же я вам должен.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Вот они, твои нелепые подозрения!

Дорант. Вы хорошо помните, сколько вы мне ссудили?

Г-н Журден. По-моему, да. Я записал для памяти. Вот она, эта самая запись. В первый раз выдано вам двести луидоров.

Дорант. Верно.

Г-н Журден. Ещё выдано вам сто двадцать.

Дорант. Так.

Г-н Журден. Ещё выдано вам сто сорок.

Дорант. Вы правы.

Г-н Журден. Всё вместе составляет четыреста шестьдесят луидоров, или пять тысяч шестьдесят ливров.

Дорант. Подсчёт вполне верен. Пять тысяч шестьдесят ливров.

Г-н Журден. Тысячу восемьсот тридцать два ливра — вашему поставщику перьев для шляп.

Дорант. Совершенно точно.

Г-н Журден. Две тысячи семьсот восемьдесят ливров — вашему портному.

Дорант. Правильно.

Г-н Журден. Четыре тысячи триста семьдесят девять ливров двенадцать су восемь денье — вашему лавочнику.

Дорант. Отлично. Двенадцать су восемь денье — подсчёт верен.

Г-н Журден. И ещё тысячу семьсот сорок восемь ливров семь су четыреста денье — вашему седельнику.

Дорант. Всё это соответствует истине. Сколько же всего?

Г-н Журден. Итого пятнадцать тысяч восемьсот ливров.

Дорант. Итог верен. Пятнадцать тысяч восемьсот ливров. Дайте мне ещё двести пистолей и прибавьте их к общей сумме — получится ровно восемнадцать тысяч франков, каковые я вам возвращу в самое ближайшее время.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Ну что, права я была?

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Отстань!

Дорант. Вас не затруднит моя просьба?

Г-н Журден. Помилуйте!

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Ты для него дойная корова.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Молчи!

Дорант. Если вам неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому.

Г-н Журден. Нет-нет, ваше сиятельство.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Он не успокоится, пока тебя не разорит.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Говорят тебе, молчи!

Дорант. Скажите прямо, не стесняйтесь.

Г-н Журден. Нисколько, ваше сиятельство.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Это настоящий проходимец.
 Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Да замолчи ты!
 Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Он высосет из тебя всё до последнего су.

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). Да замолчишь ты?

Дорант. Многие с радостью дали бы мне займы, но вы мой лучший друг, и я боялся, что обижу вас, если попрошу кого-нибудь ещё.

Г-н Журден. Слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Сейчас схожу за деньгами.

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). Что? Ты ему ещё хочешь дать?

Г-н Журден (*г-же Журден, тихо*). А как же быть? Разве я могу отказать такой важной особе, которая ещё нынче утром говорила обо мне в королевской опочивальне?

Г-жа Журден (*г-ну Журдену, тихо*). А, да ну тебя, дурак набитый!

Г-н Журден и два лакея уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Николь, Клеонт, Ковьель.

Николь (*Клеонту*). Ах, как вы вовремя! Я вестница вашего счастья и хочу вам...

Клеонт. Прочь, коварная, не смей обольщать меня лживыми своими речами!

Николь. Так-то вы меня встречаете?

Клеонт. Прочь, говорят тебе, сей же час ступай к неверной своей госпоже и объяви, что ей больше не удастся обмануть простодушного Клеонта.

Николь. Это ещё что за вздор? Миленький мой Ковьель! Скажи хоть ты: что всё это значит?

Ковьель. «Миленький мой Ковьель», негодная девчонка! А ну, прочь с глаз моих, дрянь ты этакая, оставь меня в покое!

Николь. Как? И ты туда же?..

Ковьель. Прочь с глаз моих, говорят тебе, не смей больше со мной заговаривать!

Николь (*про себя*). Вот тебе раз! Какая муха укусила их обоих? Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Клеонт, Ковьель.

Клеонт. Как! Поступать таким образом со своим поклонником, да ещё с самым верным и самым страстным из поклонников!

Ковьель. Ужас как с нами обоими здесь обошлись!

К л е о н т. Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Её одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний, она моя единственная радость. Я говорю лишь о ней, думаю только о ней, вижу во сне лишь её, сердце моё бьётся только ради неё, я дышу только ею. И вот достойная награда за эту преданность мою! Два дня не виделись мы с нею, они тянулись для меня, как два мучительных столетия; вот наконец нежданная встреча, душа моя возликовала, румянцем счастья залилось лицо, в восторженном порыве я устремляюсь к ней — и что же? Неверная не смотрит на меня, она проходит мимо, как будто мы совсем, совсем чужие!

К о в ь е л ь. Я то же самое готов сказать.

К л е о н т. Так что же сравнится, Ковьель, с коварством бессердечной Люсиль?

К о в ь е л ь. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь?

К л е о н т. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня её прелесть!

К о в ь е л ь. После такого упорного ухаживания, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне!

К л е о н т. Стольких слёз, которые я пролил у её ног!

К о в ь е л ь. Стольких ведер воды, которые я перетаскал за неё из колодца!

К л е о н т. Как пылко я её любил — любил до полного самозабвения!

К о в ь е л ь. Как жарко было мне, когда я за неё возился с вертелом, — жарко до полного изнеможения!

К л е о н т. А теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной!

К о в ь е л ь. А теперь она пренагло поворачивается ко мне спиной!

К л е о н т. Это коварство заслуживает того, чтобы на неё обрушились кары.

К о в ь е л ь. Это вероломство заслуживает того, чтобы на неё посыпались оплеухи.

К л е о н т. Смотри ты у меня, не вздумай за неё заступаться!

К о в ь е л ь. Я, сударь? Заступаться? Избави Бог!

К л е о н т. Не смей оправдывать поступок этой изменницы.

К о в ь е л ь. Не беспокойтесь.

К л е о н т. Не пытайся защищать её — напрасный труд.

К о в ь е л ь. Да у меня и в мыслях этого нет!

К л е о н т. Я ей этого не прощу и порву с ней всякие отношения.

К о в ь е л ь. Хорошо сделаете.

К л е о н т. Ей, по-видимому, вскружил голову этот граф, который бывает у них в доме; я убеждён, что она польстилась на его знатность. Однако

из чувства чести я не могу допустить, чтобы она первая объявила о своей неверности. Я вижу, что она стремится к разрыву, и намерен опередить её: я не хочу уступать ей пальму первенства.

Ковьель. Отлично сказано. Я, со своей стороны, вполне разделяю ваши чувства.

Клеонт. Так подогрей же мою досаду и поддержи меня в решительной битве с остатками любви к ней, дабы они не подавали голоса в её защиту. Пожалуйста, говори мне о ней как можно больше дурного. Выставь мне её в самом чёрном свете и, чтобы вызвать во мне отвращение, старательно оттени все её недостатки.

Ковьель. Её недостатки, сударь? Да ведь это же ломака, смазливая вертихвостка, — нашли, право, в кого влюбиться! Ничего особенного я в ней не вижу, есть сотни девушек гораздо лучше её. Во-первых, глазки у неё маленькие.

Клеонт. Верно, глаза у неё небольшие, но зато это единственные в мире глаза: столько в них огня, так они блестят, пронизывают, умиляют.

Ковьель. Рот у неё большой.

Клеонт. Да, но он таит в себе особую прелесть: этот ротик невольно волнует, в нём столько пленительного, чарующего, что с ним никакой другой не сравнится.

Ковьель. Ростом она невелика.

Клеонт. Да, но зато изящна и хорошо сложена.

Ковьель. В речах и в движениях умышленно небрежна.

Клеонт. Верно, но это придаёт ей своеобразное очарование. Держит она себя обворожительно, в ней так много обаяния, что не покориться ей невозможно.

Ковьель. Что касается ума...

Клеонт. Ах, Ковьель, какой у неё тонкий, какой живой ум!

Ковьель. Говорит она...

Клеонт. Говорит она чудесно.

Ковьель. Она всегда серьёзна.

Клеонт. А тебе надо, чтоб она была смешливой, чтоб она была хохотуньей? Что же может быть несноснее женщины, которая всегда готова смеяться?

Ковьель. Но ведь она самая капризная женщина в мире.

Клеонт. Да, она с капризами, тут я с тобой согласен, но красавица всё может себе позволить, красавице всё можно простить.

Ковьель. Ну, значит, вы её, как видно, никогда не разлюбите.

Клеонт. Не разлюблю? Нет, лучше смерть. Я буду ненавидеть её с такой же силой, с какою прежде любил.

Ковьель. Как же это вам удастся, если она, по-вашему, верх совершенства?

Клеонт. В том-то именно и скажется потрясающая сила моей мести, в том-то именно и скажется твёрдость моего духа, что я возненавижу и покину её, несмотря на всю её красоту, несмотря на всю её привлекательность для меня, несмотря на всё её очарование... Но вот и она.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, Люсиль и Николь.

Николь (*к Люсиль*). Я по крайней мере была глубоко возмущена. Люсиль. Всё это, Николь, из-за того, о чём я тебе сейчас напомнила... А, он здесь!

Клеонт (*Ковьелю*). Я и говорить с ней не желаю.

Ковьель. А я последую вашему примеру.

Люсиль. Что это значит, Клеонт? Что с вами случилось?

Николь. Да что с тобой, Ковьель?

Люсиль. Отчего вы такой грустный?

Николь. Что это ты надулся?

Люсиль. Вы утратили дар речи, Клеонт?

Николь. У тебя язык отнялся, Ковьель?

Клеонт. Вот злодейка!

Ковьель. Вот Иуда.

Люсиль. Я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча.

Клеонт (*Ковьелю*). Ага! Поняли, что натворили.

Николь. Наверно, тебя задело за живое то, как нынче утром мы с вами себя держали.

Ковьель (*Клеонту*). Знают кошки, чьё мясо съели.

Люсиль. Ведь это единственная причина вашей досады, не правда ли, Клеонт?

Клеонт. Да, коварная, если вам угодно знать, так именно это. Но только я вас предупреждаю, что ваша измена не доставит вам радости: я сам намерен порвать с вами, я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Разумеется, мне будет нелегко побороть моё чувство, меня охватит тоска, некоторое время я буду страдать, но я себя пересилю, и лучше я вырву из груди сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам.

Ковьель (*к Николь*). А куда он, туда и я.

Люсиль. Вот уж много шуму из ничего! Я вам сейчас объясню, Клеонт, почему я сегодня утром уклонилась от встречи с вами.

Клеонт (*пытается уйти от Люсиль*). Ничего не желаю слушать.

Николь (*Ковьелю*). Я тебе сейчас скажу, почему мы так быстро прошли мимо.

Ковьель (*пытается уйти от Николь*). Знать ничего не желаю.

Люсиль (*идёт за Клеонтом*). Итак, сегодня утром...

Клеонт (*не глядя на Люсиль, направляется к выходу*). Ещё раз: нет.

Николь (*идёт за Ковьелем*). Было бы тебе известно...

Ковьель (*не глядя на Николь, направляется к выходу*). Притворщица, отстань!

Люсиль. Послушайте!

Клеонт. Конеч всему.

Николь. Дай мне сказать!

Ковьель. Я глух.

Люсиль. Клеонт!

Клеонт. Нет-нет!

Николь. Ковьель!

Ковьель. Ни-ни!

Люсиль. Постойте!

Клеонт. Басни!

Николь. Послушай!

Ковьель. Вздор!

Люсиль. Минутку!

Клеонт. Ни за что!

Николь. Чуть-чуть терпенья!

Ковьель. Чепуха.

Люсиль. Два только слова!

Клеонт. Всё кончено, нет-нет!

Николь. Одно словечко!

Ковьель. Мы незнакомы.

Люсиль (*останавливается*). Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своём мнении и поступайте как вам заблагорассудится.

Николь (*тоже останавливается*). Коли так, поступай как тебе вздумается.

Клеонт (*поворачивается к Люсиль*). Любопытно, однако ж, знать причину вашего прелестного поведения.

Люсиль (*пытается уйти от Клеонта*). У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить.

Ковьель (*поворачивается к Николь*). Послушаем, однако ж, в чём тут дело.

Николь (*хочет уйти от Ковьеля*). У меня пропала всякая охота тебе это объяснять.

Клеонт (*идёт за Люсиль*). Расскажите же мне...

Люсиль (*не глядя на Клеонта, направляется к выходу*). Ничего не стану рассказывать.

Ковьель (*идёт за Николь*). Растолкуй же мне...

Николь (*не глядя на Ковьеля, направляется к выходу*). Ничего не стану растолковывать.

Клеонт. О, пощадите!

Люсиль. Ещё раз: нет!

Ковьель. Будь так любезна!

Николь. Конечу всему.

Клеонт. Я вас молю!

Люсиль. Подите прочь!

Ковьель. Прошу тебя!

Николь. Ступай-ка вон!

Клеонт. Люсиль!

Люсиль. Нет-нет!

Ковьель. Николь!

Николь. Ни-ни!

Клеонт. Ради Бога!

Люсиль. Не желаю!

Ковьель. Ну скажи!

Николь. Ни за что.

Клеонт. Пролейте свет!

Люсиль. И не подумаю.

Ковьель. Открой ты мне глаза!

Николь. Была охота.

Клеонт. Ну что ж, коль скоро вы не хотите взять на себя труд раз-
уверить меня и объяснить ваше поведение, которого любовный пламень
мой не заслужил, то, неблагодарная, вы видите меня в последний раз:
я уйду, и в разлуке с вами я умру от горя и от любви.

Ковьель (*к Николь*). А я — следом за ним.

Люсиль (*Клеонту, который собирается уходить*). Клеонт!

Николь (*Ковьелю, который идёт за своим господином*). Ковь-
ель!

Клеонт (*останавливается*). Что?

Ковьель (*тоже останавливается*). Ну?

Люсиль. Куда же вы?

Клеонт. Я вам сказал.

Люсиль. Как! Вы хотите умереть?

Клеонт. О да, жестокая, вы сами этого хотите.

Ковьель. Мы помирать пошли.

Люсиль. Я? Я хочу вашей смерти?

Клеонт. Да, хотите.

Люсиль. Кто вам сказал?

Клеонт (*подходит к Люсиль*). Как же не хотите, когда вы не хотите разрешить мои сомнения?

Люсиль. Да я-то тут при чём? Если б вы с самого начала соблаговолили меня выслушать, я бы вам сказала, что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тётка, с которой мы вместе шли: она твёрдо убеждена, что, если мужчина, не дай бог, подошёл к девушке, тем самым он её уже обесчестил, вечно читает нам об этом проповеди и старается внушить, что мужчины — это бесы и что от них нужно бежать без оглядки.

Николь (*Ковьелю*). Вот и весь секрет.

Клеонт. А вы не обманываете меня, Люсиль?

Ковьель (*к Николь*). А ты меня не дурачишь?

Люсиль (*Клеонту*). Всё это истинная правда.

Николь (*Ковьелю*). Всё так и было.

Ковьель (*Клеонту*). Ну что ж, поверить им?

Клеонт. Ах, Люсиль, вам стоит сказать одно только слово — и волнения души моей тотчас же утихают! Как легко убеждают нас те, кого мы любим!

Ковьель. Ну и ловки же умасливать нашего брата эти чёртовы куклы!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же и г-жа Журден.

Г-жа Журден. Очень рада вас видеть, Клеонт, вы как раз вовремя. Сейчас придёт мой муж; воспользуйтесь случаем и просите у него руки Люсиль.

Клеонт. Ах, сударыня, как отрадно мне слышать ваши слова и как сходятся они с моими желаниями! Что может быть для меня приятнее этого приказа, что может быть для меня дороже этого благодеяния?

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и г-н Журден.

Клеонт. Господин Журден! Я решил не прибегать ни к чьему посредничеству, чтобы обратиться к вам с просьбой, которая касается давнишней моей мечты. Это слишком важная для меня просьба, и я почёл за нужное сам изложить вам её. Итак, скажу вам не обинуясь, что честь быть вашим зятем явилась бы для меня наивысшей милостью, и вот эту именно милость я и прошу вас мне оказать.

Г-н Журден. Прежде чем дать вам ответ, сударь, я попрошу вас сказать: дворянин вы или нет?

Клеонт. Сударь! Большинство, не задумываясь, ответило бы на этот вопрос утвердительно. Слова нынче дешёвы. Люди без зазрения совести присваивают себе дворянское звание — подобный род воровства, по-видимому, вошёл в обычай. Но я на этот счёт, признаюсь, более щепетилён. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Стыдиться тех, от кого тебе небо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле, — это, на мой взгляд, признак душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почётные должности, сам я с честью прослужил шесть лет в армии, и состояние моё таково, что я надеюсь занять не последнее место в свете, но, со всем тем, я не намерен присваивать себе дворянское звание, несмотря на то, что многие на моём месте сочли бы себя вправе это сделать, и я вам скажу напрямик: я — не дворянин.

Г-н Журден. Кончено, сударь: моя дочь — не для вас.

Клеонт. Как?

Г-н Журден. Вы — не дворянин, дочку мою вы не получите.

Г-жа Журден. Да при чём тут — дворянин, не дворянин! Мы-то с тобой от ребра Людовика Святого¹, что ли, происходим?

Г-н Журден. Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь.

Г-жа Журден. Сами-то мы с тобой не из честных мещанских семей?

Г-н Журден. Вот язык-то без костей у тебя, жена!

Г-жа Журден. Разве наши родители не были купцами?

Г-н Журден. Уж эти бабы! Слова сказать не дадут. Коли твой родитель был купцом, тем хуже для него, а про моего родителя так могут сказать только злые языки. Одним словом, я хочу, чтобы зять у меня был дворянин.

¹ *Людовик IX* (1226—1270) — король Франции, прозванный Святым за организованный им крестовый поход.

Г-жа Журден. Твоей дочке нужен муж подходящий: лучше ей выйти за человека честного, богатого да статного, чем за дворянина нищего да нескладного.

Николь. Вот уж верно! В нашей деревне господский сынок такой увалень и такой оболтус, какого я отроду не видывала.

Г-н Журден (*к Николь*). Замолчи, нахалка! Вечно вмешиваешься в разговор. Добра для дочки у меня припасено довольно, недостаёт только почёта, вот я и хочу, чтоб она была маркизой.

Г-жа Журден. Маркизой?

Г-н Журден. Да, маркизой.

Г-жа Журден. Сохрани, Господи, и помилуй!

Г-н Журден. Это дело решённое.

Г-жа Журден. А я на это никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтоб мой зять стал попрекать мою дочь родителями и чтоб их дети стыдились называть меня бабушкой. Случится ей в один прекрасный день прикатить ко мне в карете, и вот ежели она ненароком кому-нибудь из соседей забудет поклониться, так чего только про неё не наговорят! «Поглядите, скажут, на госпожу маркизу! Видите, как чванится! Это дочка господина Журдена, в детстве она почитала за великое счастье поиграть с нами. Прежде она не была такой спесивой, ведь оба её деда торговали сукном подле Ворот святого Иннокентия¹. Нажили детям добра, а теперь, поди, на том свете ох как за это расплачиваются, потому честному человеку никогда так не разбогатеть». Терпеть не могу я этих пересудов. Коротко говоря, я хочу, чтоб мой зять был мне благодарен за дочку и чтоб я могла сказать ему попросту: «Садись-ка, зять, пообедай с нами».

Г-н Журден. Вот тут-то вся твоя мелочная душонка и сказала: тебе бы весь век прозябать в ничтожестве. Довольно разговоров! Наперекор всем дочь моя будет маркизой, а разозлишь меня ещё пуще, так я её герцогиней сделаю. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Клеонт, Ковьель, Люсиль, Николь, г-жа Журден.

Г-жа Журден. Не унывайте, Клеонт. (*К Люсиль.*) Пойдём-ка, дочка. Ты прямо так отцу и скажи: если не за Клеонта, так ни за кого, мол, не выйду.

Г-жа Журден, Люсиль и Николь уходят.

¹ Ворота святого Иннокентия — рыночный квартал в Париже.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Клеонт, Ковьель.

Ковьель. Много вам помогло ваше благородство!

Клеонт. Что поделаешь! Я на этот счёт необычайно щепетилен, и переломить себя — это выше моих сил.

Ковьель. А кто вам велел относиться к такому человеку серьёзно? Разве вы не видите, что он помешался? Ну что вам стоило снизойти к его слабости?

Клеонт. Твоя правда, но я никак не мог предполагать, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, требуется предъявить дворянские грамоты.

Ковьель (*хохочет*). Ха-ха-ха!

Клеонт. Чего ты смеёшься?

Ковьель. Я надумал сыграть с нашим умником одну шутку, благодаря которой вы добьётесь своего.

Клеонт. Что такое?

Ковьель. Преуморительная штучка!

Клеонт. Да что же именно?

Ковьель. Тут у нас недавно был маскарад, и для моей затеи это как раз то, что нужно: я думаю воспользоваться этим, чтобы обвести вокруг пальца нашего простофилю. Придётся, конечно, разыграть комедию, но с таким человеком всё можно себе позволить, и раздумывать тут особенно нечего: он свою роль сыграет чудесно и, каких бы небылиц ему ни напле-ли, ко всему отнесётся с полным доверием. У меня и актёры и костюмы готовы, дайте мне только полную волю.

Клеонт. Но научи же меня...

Ковьель. Сейчас я вам всё растолкую... Уйдёмте-ка отсюда: вон он опять.

Клеонт и Ковьель уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден один.

Г-н Журден. Что за чёрт! То и дело колют мне глаза моим знакомством с вельможами, а для меня нет на свете ничего приятнее таких знакомых. От них один только почёт и уважение. Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом. <...>

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, Ковьель, переодетый.

Ковьель. Не знаю, сударь, имею ли я честь быть вам знакомым.

Г-н Журден. Нет, сударь.

Ковьель (*показывает рукой на фут от полу*). А я знал вас ещё вот таким.

Г-н Журден. Меня?

Ковьель. Да. Вы были прелестным ребёнком, и все дамы брали вас на руки и целовали.

Г-н Журден. Меня? Целовали?

Ковьель. Да. Я был близким другом вашего покойного батюшки.

Г-н Журден. Моего покойного батюшки?

Ковьель. Да. Это был настоящий дворянин.

Г-н Журден. Как вы сказали?

Ковьель. Я сказал, что это был настоящий дворянин.

Г-н Журден. Кто, мой отец?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Вы его хорошо знали?

Ковьель. Ну ещё бы!

Г-н Журден. И вы его знали за дворянина?

Ковьель. Разумеется.

Г-н Журден. Вот после этого и верь людям!

Ковьель. А что?

Г-н Журден. Есть же такие олухи, которые уверяют, что он был купцом!

Ковьель. Купцом? Да это явный поклёп, он никогда не был купцом. Видите ли, он был человек на редкость обходительный, на редкость услужливый, а так как он отлично разбирался в тканях, то постоянно ходил по лавкам, выбирал, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе в дом, а потом раздавал друзьям за деньги.

Г-н Журден. Я очень рад, что с вами познакомился: вы, я думаю, не откажетесь засвидетельствовать, что мой отец был дворянин.

Ковьель. Я готов подтвердить это перед всеми.

Г-н Журден. Вы чрезвычайно меня обяжете. Чем же могу вам служить?

Ковьель. С той поры, когда я водил дружбу с покойным вашим батюшкой, как я вам уже сказал, с этим настоящим дворянином, я успел объехать весь свет.

Г-н Журден. Весь свет?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Должно полагать, это очень далеко.

Ковьель. Конечно. Всего четыре дня, как я возвратился из длительного путешествия, и так как я принимаю близкое участие во всём, что касается вас, то почёл своим долгом прийти сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость.

Г-н Журден. Какую?

Ковьель. Известно ли вам, что сын турецкого султана находится здесь?

Г-н Журден. Нет, неизвестно.

Ковьель. Как же так? У него блестящая свита, все сбегаются на него смотреть, его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо.

Г-н Журден. Ей-богу, ничего не знаю.

Ковьель. Для вас тут существенно то, что он влюблён в вашу дочь.

Г-н Журден. Сын турецкого султана?

Ковьель. Да. И он метит к вам в зятя.

Г-н Журден. Ко мне в зятя? Сын турецкого султана?

Ковьель. Сын турецкого султана — к вам в зятя. Я посетил его, турецкий язык я знаю в совершенстве, мы с ним разговорились, и между прочим он мне сказал: «Аксям крок солер онш алла мустаф гиделум аманахем варахини уссерэ карбулат?» — то есть: «Не видал ли ты молодой красивой девушки, дочери господина Журдена, парижского дворянина?»

Г-н Журден. Сын турецкого султана так про меня сказал?

Ковьель. Да. Я ответил, что знаю вас хорошо и дочку вашу видел, а он мне на это: «Ах, марабаба сахем!» — то есть: «Ах, как я люблю её!»

Г-н Журден. «Марабаба сахем» значит: «Ах, как я люблю её»?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Хорошо, что вы сказали, сам бы я нипочём не догадался, что «марабаба сахем» значит: «Ах, как я люблю её». Какой изумительный язык!

Ковьель. Ещё какой изумительный! Вы знаете, что значит «какаракамушен»?

Г-н Журден. «Какаракамушен»? Нет.

Ковьель. Это значит «душенька моя».

Г-н Журден. «Какаракамушен» значит «душенька моя»?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Чудеса! «Какаракамушен» — «душенька моя»! Кто бы мог подумать! Просто поразительно!

Ковьель. Так вот, исполняя его поручение, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки вашей дочери, а чтобы будущий тесть по своему положению был достоин его, он вознамерился произвести вас в «мамамуши»¹ — это у них такое высокое звание.

Г-н Журден. В «мамамуши»?

Ковьель. Да. «Мамамуши», по-нашему, всё равно что паладин. Паладин — это у древних... одним словом, паладин. Это самый почётный сан, какой только есть в мире, — вы станете в один ряд с наизнатнейшими вельможами.

Г-н Журден. Сын турецкого султана делает мне великую честь. Пожалуйста, проводите меня к нему: я хочу его поблагодарить.

Ковьель. Зачем? Он сам к вам приедет.

Г-н Журден. Он ко мне приедет?

Ковьель. Да, и привезёт с собой всё, что нужно для церемонии вашего посвящения.

Г-н Журден. Уж больно он скор.

Ковьель. Его любовь не терпит промедления.

Г-н Журден. Меня смущает одно: моя дочь упряма — влюбилась по уши в некоего Клеонта и клянётся, что выйдет только за него.

Ковьель. Она передумает, как скоро увидит сына турецкого султана. Кроме того, тут есть одно необычайное совпадение: дело в том, что сын турецкого султана и Клеонт похожи друг на друга как две капли воды. Я видел этого Клеонта, мне его показали... Так что чувство, которое она питает к одному, легко может перейти на другого, и тогда... Однако я слышу шаги турка. Вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Клеонт, одетый турком; три пажа несут полы его кафтана.

Клеонт. Амбусахим оки бораф, Джиурдина, селям алейкюм.

Ковьель (*г-ну Журдену*). Это значит: «Господин Журден! Да цветёт сердце ваше круглый год, будто розовый куст». Это у них так изысканно выражаются.

Г-н Журден. Я покорнейший слуга его турецкого высочества.

Ковьель. Каригар камбото устин мораф.

Клеонт. Устин йок катамалеки басум басэ алла моран.

Ковьель. Он говорит: «Да ниспошлёт вам небо силу льва и мудрость змеи».

¹ *Мамамүши* — слово, сочинённое Мольером, ставшее нарицательным для обозначения чванливых вельмож.

Г-н Журден. Его турецкое высочество оказывает мне слишком большую честь, я же, со своей стороны, желаю ему всяческого благополучия.

Ковьель. Осса бинамен садок бабалли оракаф урам.

Клеонт. Ни бель мес.

Ковьель. Он говорит, чтобы вы сей же час шли с ним готовиться к церемонии, а затем отвели его к дочке на предмет заключения брачного союза.

Г-н Журден. Это он столько выразил в трёх словах?

Ковьель. Да. Таков турецкий язык: всего несколько слов, а сказано много. Идите же с ним скорей.

Г-н Журден, Клеонт и три пажа уходят.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Ковьель один.

Ковьель. Ха-ха-ха! Потеха, право, потеха! Этаким дурачина! Выучи он свою роль заранее, всё равно лучше бы не сыграл. Ха-ха-ха!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Ковьель, Дорант.

Ковьель. Сударь! Помогите нам, пожалуйста, в одном дельце, которое мы затеяли в этом доме.

Дорант. Ха-ха-ха! Это ты, Ковьель? Тебя просто не узнать. Как это ты так вырядился?

Ковьель. Как видите. Ха-ха-ха!

Дорант. Чего ты смеёшься?

Ковьель. Уж очень забавная, сударь, история, оттого и смеюсь.

Дорант. Что же это такое?

Ковьель. Бьюсь об заклад, сударь, что вы не догадаетесь, какую ловушку приготовили мы для господина Журдена, чтобы он согласился на брак своей дочери с моим господином.

Дорант. Я не догадываюсь, какая именно это ловушка, но зато догадываюсь, что успех ей обеспечен, коль скоро за дело берёшься ты.

Ковьель. Вам, конечно, сударь, известно, на какого зверя мы охотимся.

Дорант. Расскажи мне, что вы задумали.

Ковьель. Потрудитесь отойти в сторонку, а то вот уже сюда идут, надо пропустить. Вы увидите часть комедии, остальное я вам доскажу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Турецкая церемония.

Муфтий, поющие дервиши, танцующие турки,
свита муфтия.

ПЕРВЫЙ БАЛЕТНЫЙ ВЫХОД

Шестеро турок под музыку торжественно идут парами. Они несут три ковра и, протанцевав несколько фигур, поднимают ковры над головой. Поющие турки проходят под этими коврами, а затем выстраиваются по обе стороны сцены. Муфтий с дервишами замыкают шествие. Далее турки расстилают ковры и становятся на колени, муфтий и дервиши стоят посередине. Муфтий разными ужимками и гримасами, но без слов призывает Магомета, а в это время турки, составляющие его свиту, prostираются ниц и поют «Алла», затем воздевают руки к небу и снова поют «Алла», и так до конца муфтиевой молитвы, после чего все они поднимаются с пола и поют «Алла экбер»¹, а двое дервишей идут за г-ном Журденом.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и г-н Журден, одетый турком, с бритой головой, без тюрбана и без сабли.

Муфтий (*г-ну Журдену*).

Когда ты знай,

То отвечай.

Когда не знай,

Тогда молчай.

Я муфтий здесь,

А ты кто есь?

Не понимай?

Молчай, молчай!

Двое дервишей уводят г-на Журдена.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Муфтий, дервиши, турки, свита муфтия.

Муфтий. Сказать мне, турки, кто он иста. Анабаптиста? Анабап-
тиста?

Турки. Йок².

Муфтий. Цвинглиста?

¹ Алла́ экбе́р — Бог велик (араб.).

² Йок — нет (тур.).

Турки. Йок.
 Муфтий. Коффиста?
 Турки. Йок.
 Муфтий. Гусита? Мориста? Фрониста?
 Турки. Йок. Йок. Йок.
 Муфтий. Йок. Йок. Йок. Язычникана?
 Турки. Йок.
 Муфтий. Лютерана?
 Турки. Йок.
 Муфтий. Пуритана?
 Турки. Йок.
 Муфтий. Брамина? Моффина? Зурина?
 Турки. Йок. Йок. Йок.
 Муфтий. Йок. Йок. Йок. Магометана? Магометана?
 Турки. Эй валла! Эй валла!
 Муфтий. Как прозвание? Как прозвание?
 Турки. Джиурдина. Джиурдина.
 Муфтий (*подпрыгивая*). Джиурдина. Джиурдина.
 Турки. Джиурдина. Джиурдина.
 Муфтий.

Магомета господина!
 Я просить за Джиурдина
 Его сделать паладина,
 Дать ему алебардина
 И отправить Палестина
 На галера бригантина
 И со всеми сарацина
 Воевать христианина.
 Магомета господина
 Я просить за Джиурдина.

(Туркам.)

Карош турка Джиурдина?
 Турки. Эй валла! Эй валла!
 Муфтий (*поёт и пляшет*). Ха-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да.
 Турки. Ха-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да.

Муфтий и дервиши уходят.



«Мещанин во дворянстве». Художник Л. Нижний

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Турки поющие и танцующие.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же, муфтий, дервиши и г-н Журден.

ВТОРОЙ БАЛЕТНЫЙ ВЫХОД

Впереди идёт муфтий; на голове у муфтия — невероятной величины парадный тюрбан, к которому в несколько рядов прикреплены зажжённые свечи; за ним двое дервишей в остроконечных шапках, на которых тоже красуются зажжённые свечи, несут Коран. Двое других дервишей вводят г-на Журдена и ставят на колени так, чтобы руки касались земли, а спина служила подставкой для Корана; муфтий кладёт ему на спину Коран и снова начинает, паясничая, призывать Магомета: сдвигает брови, время от времени ударяет рукой по Корану и быстро-быстро его перелистывает, затем воздевает руки к небу и восклицает: «Гу!»¹ Во время этой второй церемонии турки, составляющие его свиту, то наклоняются, то выпрямляются и тоже восклицают: «Гу! Гу! Гу!»

¹ Гу — по-арабски значит «он».

Г-н Журден (*после того как у него со спины сняли Коран*). Ух!
 Муфтий (*г-ну Журдену*). Твой не обманос?
 Турки. Нет, нет, нет.
 Муфтий. Не шарлатанос?
 Турки. Нет, нет, нет.
 Муфтий (*туркам*). Дать ему тюбанос!
 Турки.
 Твой не обманос?
 Нет, нет, нет.
 Не шарлатанос?
 Нет, нет, нет.
 Дать ему тюбанос!

ТРЕТИЙ БАЛЕТНЫЙ ВЫХОД

Танцующие турки под музыку надевают на г-на Журдена тюбан.

Муфтий (*подавая г-ну Журдену саблю*).
 Твой — дворян. Не вру ни капля.
 Вот тебе сабля.
 Турки (*обнажая сабли*).
 Твой — дворян. Не вру ни капля.
 Вот тебе сабля.

ЧЕТВЁРТЫЙ БАЛЕТНЫЙ ВЫХОД

Танцующие турки в такт музыке наносят г-ну Журдену удары саблями
 плашмя.

Муфтий.
 Палка, палка,
 Бей — не жалка.
 Турки.
 Палка, палка,
 Бей — не жалка.

ПЯТЫЙ БАЛЕТНЫЙ ВЫХОД

Танцующие турки в такт музыке бьют г-на Журдена палками.

Муфтий.
 Не бояться,
 Не стыдиться,

Если хочешь
Посвятиться!
Турки.
Не бояться,
Не стыдиться,
Если хочешь
Посвятиться!

Муфтий в третий раз начинает призывать Магомета. Дервиши почтительно поддерживают его под руки; затем турки, и поющие и танцующие, начинают прыгать вокруг муфтия и, наконец, удаляются вместе с ним и уводят с собой г-на Журдена.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Журден, г-н Журден.

Г-жа Журден. Господи помилуй! Это ещё что такое? На кого ты похож? Что это ты на себя напялил? Рядиться вздумал? Да говори же, наконец, что всё это значит? Кто это тебя таким шутлом гороховым вырядил?

Г-н Журден. Вот дура! Так разговаривать с мамamuши!

Г-жа Журден. Что такое?

Г-н Журден. Да-да, теперь все должны быть со мною почтительны. Меня только что произвели в мамamuши.

Г-жа Журден. Как это понять — мамamuши?

Г-н Журден. Говорят тебе — мамamuши. Я теперь мамamuши.

Г-жа Журден. Это ещё что за зверь?

Г-н Журден. Мамamuши — по-нашему паладин.

Г-жа Журден. Балдин? Балда ты и есть. Вздумал на старости лет в пляс пускаться.

Г-н Журден. Вот темнота! Это такой сан, в который меня сейчас посвятили.

Г-жа Журден. Как так посвятили?

Г-н Журден. Магомета господина! Я молить за Джиурдина.

Г-жа Журден. Что это значит?

Г-н Журден. «Джиурдина» — значит Журден.

Г-жа Журден. Ну, Журден, а дальше?

Г-н Журден. Его сделать паладина.

Г-жа Журден. Как?

Г-н Журден. И отправить в Палестина на галера бригантина.

Г-жа Журден. Это зачем же?

Г-н Журден. И со всеми сарацина воевать христианина.

Г-жа Журден. Да что ты несёшь?

Г-н Журден. Палка, палка, бей — не жалка.

Г-жа Журден. Что за тарабарщина!

Г-н Журден. Не бояться, не стыдиться, если хочешь посвятиться.

Г-жа Журден. Да что же это такое?

Г-н Журден (*приплясывает и поёт*). Ула-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да. (*Падает.*)

Г-жа Журден. Боже милосердный! Мой муж совсем с ума сошёл!

Г-н Журден (*встаёт и направляется к выходу*). Перестань, грубиянка! Относись с уважением к господину мамамуши. (*Уходит.*)

Г-жа Журден (*одна*). Когда же это он успел рехнуться? Скорей за ним, а то ещё убежит из дому! (*Увидев Доримену и Доранта.*) А-а, вас здесь только не хватало! Час от часу не легче. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Дорант, Доримена.

Дорант. Да, маркиза, вас ожидает презабавное зрелище. Могу ручаться, что такого сумасброда, каков наш Журден, вы нигде не найдёте. Затем наш долг — принять участие в сердечных делах Клеонта и поддержать его затею с маскарадом. Он премилый человек, ему стоит помочь.

Доримена. Я о нём очень высокого мнения. Он вполне достоин счастья.

Дорант. Помимо всего этого, нам не следует пропускать балет, который, собственно говоря, для нас же и устраивается. Посмотрим, насколько удачен мой замысел.

Доримена. Я заметила здесь грандиозные приготовления. Вот что, Дорант: больше я этого не потерплю. Да-да, я хочу положить конец вашей расточительности: чтобы вы больше на меня не тратились, я решила выйти за вас замуж не откладывая. Это единственное средство — со свадьбой все эти безумства обычно кончаются.

Дорант. Неужели вы и правда намерены принять столь отрадное для меня решение?

Доримена. Это только для того, чтобы вы не разорились, иначе, я убеждена, недалёк тот час, когда вы останетесь без гроша.

Дорант. О, как я признателен вам за ваши заботы о моём состоянии! Оно всецело принадлежит вам, так же точно, как и моё сердце; распоряжайтесь ими по своему благоусмотрению.

Доримена. Я сумею распорядиться и тем и другим... Но вот и наш чудак. Вид у него обворожительный!



«Мещанин во дворянстве». Художник Л. Нижний

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и г-н Журден.

Дорант. Милостивый государь! Мы с маркизой явились поздравить вас с новым званием и разделить вашу радость по поводу предстоящего бракосочетания вашей дочери с сыном турецкого султана.

Г-н Журден (*кланяется им по-турецки*). Желаю вам, ваше сиятельство, силу змеи и мудрость льва.

Доримена. Я имею счастье одною из первых приветствовать вас по случаю того, что вы взошли на высшую ступень славы.

Г-н Журден. Желаю вам, сударыня, чтоб ваш розовый куст цвёл круглый год. Я вам бесконечно благодарен за то, что вы пришли меня чествовать, и весьма рад, что вы снова здесь и что я могу принести вам искренние извинения за дикую выходку моей жены.

Доримена. Пустое! Я охотно прощаю ей этот невольный порыв. Вы ей, разумеется, дороги, и нет ничего удивительного, что, обладая таким сокровищем, она испытывает некоторые опасения.

Г-н Журден. Все права на обладание моим сердцем принадлежат вам.

Дорант. Вы видите, маркиза, что господин Журден не из тех людей, которых ослепляет благополучие: он и в счастье не забывает своих друзей.

Доримена. Это признак души истинно благородной.

Дорант. А где же его турецкое высочество? Мы хотели бы в качестве ваших друзей засвидетельствовать ему своё почтение.

Г-н Журден. Вот он идёт. Я уж послал за дочерью, чтоб она отдала ему руку и сердце.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Те же и Клеонт, одетый турком.

Дорант (*Клеонту*). Ваше высочество! В качестве друзей вашего почтенного тестя мы явились засвидетельствовать вам глубочайшее наше уважение и всепокорнейше принести уверения в совершенной нашей преданности.

Г-н Журден. Где же это толмач? Он бы вас ему представил и растолковал, что вы хотите сказать. Вот увидите, он вам непременно ответит: он прекрасно говорит по-турецки. Эй! Эй! Куда же это его унесло? (*Клеонту*.) Струф, стриф, строф, страф. Этот каспатин балшой велмош, балшой велмош, а эта каспаша — ух какой снатна тама, ух какой снатна тама! (*Видя, что тот ничего не понимает*.) Ага! (*Указывая на Доранта*.) Он французский мамамуши, она французская мамамушиня. Яснее выразиться не могу... Вот, слава богу, и переводчик.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и переодетый Ковьель.

Г-н Журден. Где же вы? Мы без вас как без рук. (*Указывая на Клеонта*.) Скажите ему, пожалуйста, что этот господин и эта дама — особы из высшего общества и что они в качестве моих друзей явились засвидетельствовать ему своё почтение и принести уверения в преданности. (*Доримене и Доранту*.) Послушайте, что он ответит.

Ковьель. Алабала кросьям якши борам алабамен.

Клеонт. Каталеки тубал урин сотер амалушан.

Г-н Журден (*Доранту и Доримене*). Слышите?

Ковьель. Он желает, чтобы дождь благоденствия во всякое время орошал вертоград вашего семейства.

Г-н Журден. Я вам не зря сказал, что он говорит по-турецки!

Дорант. Поразительно!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Люсиль.

Г-н Журден. Иди сюда, дочь моя, подойди поближе и дай руку этому господину — он делает тебе честь, что сватается за тебя.

Л ю с и л ь. Что с вами, батюшка? Что вы с собой сделали? Или вы комедию играете?

Г-н Ж у р д е н. Нет-нет, это вовсе не комедия, это дело очень даже серьёзное и такое для тебя почётное, что лучше не придумаешь. (*Указав на Клеонта.*) Вот кого я даю тебе в мужья.

Л ю с и л ь. Мне, батюшка?

Г-н Ж у р д е н. Ну да, тебе. Скорей подай ему руку и благодари Бога за такое счастье.

Л ю с и л ь. Я не желаю выходить замуж.

Г-н Ж у р д е н. А я, твой отец, этого желаю.

Л ю с и л ь. Ни за что.

Г-н Ж у р д е н. Без всяких разговоров! Поживей, тебе говорят! Ну, давай же руку!

Л ю с и л ь. Нет, батюшка, я уже вам сказала, что нет такой силы, которая принудила бы меня выйти замуж за кого-нибудь, кроме Клеонта. Я скорей решусь на любую крайность, чем... (*Узнаёт Клеонта.*) Конечно, вы — мой отец, я должна вам беспрекословно повиноваться, устраивайте мою судьбу как вам будет угодно.

Г-н Ж у р д е н. Ах, как я рад, что сознание долга так скоро к тебе вернулось! Хорошо иметь послушную дочь!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и г-жа Ж у р д е н.

Г-жа Ж у р д е н. Это что такое? Что это ещё за новости? Говорят, ты собрался выдать свою дочь за какого-то шута?

Г-н Ж у р д е н. Да замолчишь ли ты, нахалка? Надоели мне твои дикие выходки, ничем тебя не вразумишь!

Г-жа Ж у р д е н. Это тебя никакими силами не приведёшь в разум, так и жди какого-нибудь нового сумасбродства. Что это ты задумал и к чему это сборище?

Г-н Ж у р д е н. Я хочу выдать нашу дочь за сына турецкого султана.

Г-жа Ж у р д е н. За сына турецкого султана?

Г-н Ж у р д е н. Да. (*Указывая на Ковьяля.*) Засвидетельствуй ему своё почтение вот через этого толмача.

Г-жа Ж у р д е н. Не нужно мне никакого толмача, я сама скажу ему прямо в глаза, что дочка моей ему не видать.

Г-н Ж у р д е н. Да замолчишь ли ты, наконец?

Д о р а н т. Помилуйте, госпожа Журден, неужели вы отказываетесь от такой чести? Вы не хотите, чтобы вашим зятем был его турецкое высочество?

Г-жа Журден. Ради бога, сударь, не вмешивайтесь вы в чужие дела.
Доримена. Таким великим счастьем пренебрегать не следует.

Г-жа Журден. И вас, сударыня, я тоже попрошу не лезть куда не спрашивают.

Дорант. Мы о вас же заботимся — единственно из дружеского к вам расположения.

Г-жа Журден. Не нуждаюсь я в вашем дружеском расположении.

Дорант. Но ведь и ваша дочь согласна подчиниться воле родителя.

Г-жа Журден. Моя дочь согласна выйти за турка?

Дорант. Вне всякого сомнения.

Г-жа Журден. Она может забыть Клеонта?

Дорант. Чем только не поступают ради того, чтобы именоваться знатною дамой!

Г-жа Журден. Если она выкинула такую штуку, я её своими руками задушу.

Г-н Журден. Ну, поехала! Я тебе говорю, что свадьба состоится.

Г-жа Журден. А я тебе говорю, что не состоится.

Г-н Журден. Довольно разговоров!

Люсиль. Матушка!

Г-жа Журден. А, да ну тебя, скверная девчонка!

Г-н Журден (*жене*). Ты что же это, бранишь её за повиновение отцу?

Г-жа Журден. Да. Она столько же моя дочь, сколько и твоя.

Ковьель (*г-же Журден*). Сударыня!

Г-жа Журден. А вы-то что собираетесь мне сказать?

Ковьель. Только одно слово.

Г-жа Журден. Очень мне нужно ваше слово!

Ковьель (*г-ну Журдену*). Сударь! Если только ваша супруга захочет поговорить со мной наедине, то я вам ручаюсь, что она изъяснит своё согласие.

Г-жа Журден. Ни за что не соглашусь.

Ковьель. Да вы только выслушайте меня!

Г-жа Журден. Не выслушаю.

Г-н Журден (*жене*). Выслушай его!

Г-жа Журден. Не желаю я его слушать.

Г-н Журден. Он тебе растолкует...

Г-жа Журден. Не желаю я, чтоб он мне растолковывал.

Г-н Журден. До чего же все женщины упрямы! Что, тебя от этого убудет, что ли?

Ковьель. Вам надо только выслушать меня, а дальше поступайте как вам заблагорассудится.

Г-жа Журден. Ну, что у вас такое?

Ковьель (*г-же Журден, тихо*). Битый час, сударыня, мы делаем вам знаки. Неужели вы не видите, что всё это мы затеяли только для того, чтобы подделаться под господина Журдена с его вечными причудами? Мы дурачим его этим маскарадом: ведь сын турецкого султана — не кто иной, как Клеонт.

Г-жа Журден (*Ковьелю, тихо*). Ах, вот в чём дело!

Ковьель (*г-же Журден, тихо*). А я, Ковьель, при нём переводчиком.

Г-жа Журден (*Ковьелю, тихо*). Ну, коли так, то я сдаюсь.

Ковьель (*г-же Журден, тихо*). Только не подавайте виду.

Г-жа Журден (*громко*). Да. Всё уладилось. Я согласна на брак.

Г-н Журден. Ну вот все и образумились! (*Жене.*) А ты ещё не хотела его выслушать! Я был уверен, что он сумеет тебе объяснить, что значит сын турецкого султана.

Г-жа Журден. Он мне всё толком объяснил, и теперь я довольна. Надо послать за нотариусом.

Дорант. Похвальное намерение. А чтобы вы, госпожа Журден, могли быть совершенно спокойны и с нынешнего дня перестали ревновать почтенного вашего супруга, я вам объявляю, что мы с маркизой воспользуемся услугами того же самого нотариуса и заключим брачный союз.

Г-жа Журден. Я и на это согласна.

Г-н Журден (*Доранту, тихо*). Это вы для отвода глаз?

Дорант (*г-ну Журдену, тихо*). Пусть себе тешится этой басней.

Г-н Журден (*тихо*). Отлично, отлично! (*Громко.*) Пошлите за нотариусом.

Дорант. А пока он придёт и составит брачные договоры, давайте посмотрим балет — это послужит развлечением и для его турецкого высокочества.

Г-н Журден. Прекрасная мысль. Пойдёмте занимать места.

Г-жа Журден. А как же Николь?

Г-н Журден. Николь я отдаю толмачу, а мою супругу — кому угодно.

Ковьель. Благодарю вас, сударь. (*В сторону.*) Ну уж другого такого сумасброда на всём свете не сыщешь!

Комедия заканчивается балетом.

Перевод Н. Любимова



Размышляем о прочитанном

1. В одной из статей о Мольере говорится, что в комедии «Мещанин во дворянстве» достаётся и мещанину, и дворянину. Как Мольер изображает обнищание и паразитизм аристократии, тщеславие буржуазии?
2. Какими приёмами сатирического изображения своих персонажей пользуется автор? Покажите на примерах, как создаёт драматург человеческий характер. Чем можно объяснить поступки господина Журдена? Глуп ли он? В нормальном ли состоянии? Объясните мотивы поведения других персонажей по отношению к господину Журдену.
3. В чём вы видите потерю Журденом здравого смысла, в ряде случаев присущего ему? В ком и в чём ярко проявляется здравый смысл, простота поведения и значительность народного характера?
4. Стремление к знаниям всегда похвально. Но почему сцены уроков, которые дают господину Журдену, комичны? Каково отношение учителей к ученику? Понадобятся ли когда-нибудь господину Журдену полученные знания?
5. Всегда ли господин Журден только смешон? Вызывает ли он иногда у вас сочувствие, может быть, даже поддержку? Когда и в каких случаях?
6. Что вы можете сказать о молодых персонажах комедии (Люсиль, Клеонт, Николь, Ковель)? Всегда ли вы на стороне этих героев комедии?



Учимся читать выразительно

Работа в группе. Прочитайте комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» полностью. Подготовьте выразительное чтение по ролям сцен из комедии (по выбору). Как вы понимаете заглавие этой комедии? Как связан замысел комедии с жизнью Франции второй половины XVII века?



Опыт литературоведческого исследования

★ В школе классицизма Мольер не был послушным учеником. В чём он нарушает правила классицизма, а в чём следует им? Мольер совмещал литературную традицию с традицией народного театра. Приведите примеры того, как драматург использует приёмы народного фарса (одурачивание, подслушивание, переодевание, игра со словами, например тарабарщина, «турецкая речь» и т. д.). Напишите сочинение-исследование «Каноны классицизма в комедии Ж.-Б. Мольера „Мещанин во дворянстве“».



Проект

Работа в группе. Подготовьте театральную постановку нескольких сцен комедии на школьной сцене. Продумайте костюмы, декорации, музыкальное сопровождение, танцевальные номера и другие элементы спектакля.

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Теоретические материалы

Историзм литературы

Любое художественное произведение существует во времени и тесно связано с историей общества, страны, народа, нации, всего человечества. Такая сопряжённость литературы и истории позволяет рассматривать проблему историзма как одну из основных в науке о литературе. Она выдвинута самой историей, т. е. историческим опытом человечества на протяжении тысячелетий.

Учёные, изучавшие мировую историю, заметили, что нынешнее состояние мира складывалось постепенно, что мышление и чувства, «язык», которым пользовались древние люди, имели много общего с современностью, однако есть с нею и глубокие различия. В древности люди тоже думали, размышляли, любили, негодовали, мечтали. И в этом они не отличались от нас.

Но содержание их мыслей, чувств, «языковое» их выражение были другими, непохожими на содержание и выражение наших мыслей и чувств... К давно прошедшим историческим событиям нельзя применять современные понятия и представления.

Итак, под историзмом понимают соответствие идей и чувств, а также соответствие выражения их строго определённой исторической эпохе. Историзм предполагает, что ничто не является на пустом месте, а выступает результатом развития, что ход последующих событий вытекает из предыдущих. Историзм утверждает, что ничто в истории не повторяется точно в таком же виде, как оно произошло раньше. Минувший век не воскресает вновь.

В целом знание истории и развитое чувство историзма помогают угадать и понять смысл и направление исторического движения всего человечества, а значит, содействовать желательным процессам и противодействовать нежелательным.

В художественной литературе дело обстоит несколько иначе. Так, достаточно, если вымысел соответствует духу истории, чтобы художественная фантазия была историчной. Например, в романе А. С. Пушкина «Арап Петра Великого» Пётр I встречает Ибрагима Ганнибала, предка великого поэта, за 28 вёрст от Петербурга, в ямской избе, сажает в свою коляску и гордо показывает ему город, которого крестник царя ещё не видел. В истории такого эпизода не было. Но, зная многое о жизни Петра I, его преобразовательской деятельности, его заботе о полезных государству людях, Пушкин предположил, что так могло бы быть. Его художественный вымысел оказался убедительным и историчным, так как отвечал духу эпохи.

Под историзмом художественной литературы понимают её способность в живых картинах, конкретных человеческих судьбах и характерах передавать облик той или иной исторической эпохи. Понятие «историзм» употребляется в двух смыслах — широком и узком.

В широком смысле историзм присущ всем истинно художественным произведениям независимо от того, изображают ли они далёкое прошлое или современность. Например, историзмом отмечены и «Песнь о вещем Олеге», и роман «Дубровский», и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, и рассказ А. П. Чехова «Злоумышленник». В одних из названных произведений есть исторические сцены, в других нет, но все они отвечают требованиям художественного историзма, передавая своеобразие жизни человека определённого времени.

В узком смысле понятие «историзм» применяется к произведениям исторических жанров — историческим романам, историческим поэмам, содержанием которых становятся исторические сюжеты, как, например, в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины» или повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». В этих произведениях писатели стремятся понять и передать своеобразие отдалённой эпохи, особенности характеров и поступков людей, т. е. подойти к изображению прошлого исторически.

Понятие «историзм» возникает в конце XVIII — начале XIX века в трудах немецкого историка И. Г. Гердера, воплощение принципов историзма мы видим в творчестве английского романиста Вальтера Скотта.

Гердер ищет национальное своеобразие в фольклоре, в творчестве народа.

Вальтер Скотт демонстрирует историзм мышления при воссоздании прошлых эпох, сосредоточивается на воспроизведении истории «домашним образом», на историческом колорите, передавая характеры людей, особенности их мыслей и чувств. В романах Вальтера Скотта воплотились наиболее яркие признаки романтического историзма. Под романтическим историзмом понимают изображение человека и выражение его внутреннего мира в зависимости от национального опыта, климата, природы, языка, народных верований, обычаев.

В России романтический историзм даёт себя знать в думах К. Ф. Рылеева, в исторических повестях Бестужева-Марлинского¹, в романах Загоскина², в балладах А. К. Толстого³.

Причём у одних писателей (у Рылеева, например) герои думают и чувствуют так, как сам поэт и его друзья-декабристы, у других заметно стремление точно воспроизвести исторический колорит, сохранить верность нравам, обычаям, языку прошлых эпох.

¹ *Бестужев-Марлинский Александр Александрович* (1797—1837) — русский писатель.

² *Загоскин Михаил Николаевич* (1789—1852) — русский писатель.

³ *Толстой Алексей Константинович* (1817—1875) — русский писатель.

Реалистический историзм характерен тем, что история предельно приближена к человеку, его быту и его житейским условиям. Такой историзм свойствен прежде всего А. С. Пушкину, заложившему основы реалистического историзма. Это означает, что человек — часть истории, что история продолжает творить его, формируя характер, вкусы, привычки, быт, нравственность и язык. Реалистический историзм — это сюжетное, композиционное и языковое воспроизведение исторических явлений в свете их собственного содержания и смысла. При этом глубина и правдивость такого воспроизведения зависят от проникновения автора в своеобразие исторической эпохи. А. С. Пушкин не ограничился воспроизведением исторического колорита и панорамы эпохи, а изобразил социальный конфликт между властью и народом, дворянством и крестьянством, дворянством старинным, родовитым и новым. Так, в романе «Дубровский» принадлежащий к старинному дворянскому роду Владимир Дубровский становится во главе крестьян против Троекурова. Однако впоследствии А. С. Пушкин понял, что дворянин не может возглавить крестьянское восстание. В «Капитанской дочке» дворянин Гринёв не переходит на сторону Пугачёва. Но мысль А. С. Пушкина сводится к тому, что в сердце молодого дворянина возобладали человеческие чувства, которые в дальнейшем объединяли бы крестьян и дворян, а не разъединяли их.

Эта же мысль о единстве нации пронизывает и роман Л. Н. Толстого «Война и мир». О победе общечеловеческих чувств, несмотря на непреодолимые препятствия, писал и Н. А. Некрасов в поэме «Русские женщины». А. П. Чехов, исторически глубоко поняв душу русского человека, с необычайной силой изобразил пропасть между безграмотным, непросвещённым мужиком, чуждым всякого злодейства, но невольно ставшим «злодеем», злоумышленником, не понимающим совершённого им преступления, и образованным сословием в лице следователя.

С течением времени понятие историзма и сам принцип художественного историзма обогатились в творчестве И. А. Бунина, А. А. Блока, М. А. Булгакова, А. Т. Твардовского, которые могли одной деталью, одной чертой, одним намёком передать самую суть исторической эпохи и характер Человека этой эпохи.

Проверьте себя

1. Что понимают литературоведы под историзмом? Как возникло понятие «историзм»? Что означает понятие «историзм» в широком и узком смысле этого слова?
- 2★. В каких произведениях русской литературы проявился романтический историзм, а в каких — реалистический? Подтвердите свои ответы примерами из произведений русской литературы. Объясните слова и словосочетания, включите их в пересказ

статьи об историзме в литературе: *история общества, опыт человечества, древние люди, историзм, предок великого поэта, утвердилось мнение, нашло отражение, романтический историзм, внутренний мир, реалистический историзм, эпоха.*

Композиция

Композиция (лат. compositio — составление, соединение) — построение художественного произведения, организация образов, их связей и отношений, характеризующие жизненный процесс, показанный в произведении.

С чего начать произведение? Чем его закончить? На какие части оно будет делиться? Что надо сообщить читателю сразу, а что потом? О чём рассказать подробно и о чём коротко? От чьего лица строить повествование? Эти и многие другие вопросы стоят перед писателем, и связаны они с построением произведения, с его композицией.

Подобно архитектору, писатель выстраивает план-проект будущего произведения. Композиционный план может меняться (Пушкин неоднократно перестраивал «форму плана» «Евгения Онегина»). Автор иногда даёт предысторию героя сразу («Капитанская дочка»), иногда потом. Самая первая фраза «Ревизора» Гоголя является завязкой комедии, кульминация и развязка даны одновременно в немой сцене.

Проверьте себя

1. Что такое композиция? Приведите примеры завязки, развязки, кульминации в прочитанных вами произведениях Пушкина, Гоголя.
2. В «Капитанской дочке» Пушкин показывает сложное историческое событие с помощью рассказа Гринёва. Что этим достигается?

Роман

Роман (фр. roman — первоначально: произведение на одном из романских языков) — большая форма эпического жанра литературы. Его наиболее общие черты: многолинейность сюжета, охватывающего судьбы ряда лиц, отсюда — большой объём сравнительно с другими жанрами. В отличие от повести в романе основную организующую роль играет не манера изложения повествования, а сюжет, развитие событий, которые относятся к большому периоду времени и позволяют полно показать целую человеческую жизнь, изобразить длительно протекающий процесс или сложное, многостороннее явление («Айвенго» Вальтера Скотта), — сюжеты, воспроизводящие в хроникальной последовательности многообразные события («История одного города» Салтыкова-Щедрина).

Расцвет романа наступает в XIX веке, в XX и XXI веках продолжается его развитие.

?! Проверьте себя

1. Когда впервые вы встретились с жанром романа? Какой роман был прочитан вами впервые?
2. Какой из романов, прочитанных в 8 классе, показался вам особенно интересным? Чем он вас заинтересовал?

Комедия

Комедия (гр. *comoidia* — весёлая толпа и песня) — один из основных видов драмы, в котором действие и характеры представлены в формах смешного. «В основании истинно художественной комедии лежит глубочайший юмор» (В. Белинский).

Комедия изображает порочное и безобразное прежде всего как выражение внутренней человеческой неполноценности. Комические персонажи стоят как бы ниже окружающей действительности, лишаются разумной формы существования и действия. Отсюда гротеск, гипербола, карикатура как средства комедийной характеристики. В комедии постоянно живёт положительный «герой» — смех, ниспровергающий безобразное и поднимающий над ним читателя.

Различаются комедии положений, когда предпочтение отдаётся событиям, интриге («Комедия ошибок» Шекспира), и комедии характеров, когда источником смешного являются прежде всего характеры («Укрощение строптивой» Шекспира). Среди шедевров комедии преобладают пьесы, сочетающие в себе оба компонента.

В русской комедии разоблачающий смех пробуждал и трагические предчувствия, поскольку в ней изображались глубинные социальные и национально-общественные явления. Белинский называл «Ревизора» Гоголя одновременно и комедией, и трагедией.

Для комедий характерно несоответствие, на основе которого вырастают такие приёмы, как гипербола, гротеск, абсурд.

Например, в незавершённой пьесе Гоголя «Владимир третьей степени» чиновник в конце концов воображал себя орденом, в «Женитьбе» герой перед самой свадьбой выпрыгивал в окно, в «Ревизоре» ничтожного чиновника принимали за важную особу.

?! Проверьте себя

1. Что такое комедия? Какие комедии вам известны и какие из них вы смотрели в театре?
2. Как бы вы определили пьесу «Ревизор»: комедией положений, комедией характеров или пьесой, сочетающей в себе оба компонента?

3. Кто является положительным героем комедии «Ревизор»? Согласны ли вы с оценкой В. Белинского, что комедия «Ревизор» одновременно и трагедия? В чём смысл этого высказывания?

Трагедия

Трагедия (гр. *tragos* — козёл, *ode* — песня) — один из видов драмы, в основе которого лежит напряжённый, непримиримый конфликт, чаще всего оканчивающийся гибелью героя. В трагедии ставятся проблемы человеческого бытия, движения истории («Борис Годунов» А. С. Пушкина), неодолимости рока, земной любви («Ромео и Джульетта» В. Шекспира).

Трагедия одновременно включает в себе и оптимизм: например, «Ромео и Джульетта» освещена оптимизмом гуманистической позиции самого автора — В. Шекспира.



Литература и другие виды искусства

1. Какие трагедии вы читали, какие видели в театре? Каковы ваши впечатления?
2. Смотрели ли вы кинофильм «Ромео и Джульетта» или театральную постановку трагедии? В каком театре? Понравилась ли вам игра актёров? Какие чувства вызвала у вас эта пьеса?

Песня

Песня — форма словесного искусства. Следует различать песню фольклорную и песню как жанр письменной поэзии. В традиционном фольклоре текст песни и её мелодия создавались одновременно; литературная песня служила лишь основой для последующих, часто различных словесно-музыкальных произведений.

С. Лазутин

Романс

Романс — стихотворение, положенное на музыку или рассчитанное на такое переложение; обычно небольшое лирическое произведение, строфическое, со стихами средней длины, с характерной напевной интонацией без отчётливых жанровых признаков.

В западноевропейской поэзии были популярны романсы Ш. Мильвуа, Э. Парни. «Романсы без слов» — так озаглавил свой сборник П. Верлен.

Подзаголовок «романс» имеют стихотворения А. С. Пушкина «Под вечер, осенью ненастной...», В. А. Жуковского «Желание», Е. А. Баратынского «Разверение» и многие другие.

По М. Гаспарову

Элегия

Элегия — лирический жанр, стихотворение средней длины, чаще всего от первого лица, без отчётливой композиции, обычно печального содержания, преобладающая тематика — любовная. В русской литературе элегия появляется в XVIII веке у В. Тредиаковского, А. Сумарокова и расцветает в XIX веке у В. Жуковского и К. Батюшкова, А. Пушкина и Е. Баратынского и др.

М. Гаспаров



Назовите знакомые вам песни, романсы и элегии. Какие из них вам нравятся?
Кто их авторы?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА РОССИИ

Иван Алексеевич БУНИН

Город Орёл

Профессиональная литературная деятельность лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина началась в губернском городе Орле. Почти в каждом номере газеты «Орловский вестник» с осени 1889 года печатались статьи, репортажи, стихи, очерки, рассказы начинающего писателя. В Орле в 1891 году вышла первая книга Бунина «Стихотворения. 1887—1891». Знаменитый перевод поэмы классика американской литературы Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» также впервые был опубликован на страницах «Орловского вестника», здесь же, в Орле, он вышел отдельной книгой в 1896 году.

В одном из старинных дворянских особняков в центре Орла в декабре 1991 года был открыт литературно-мемориальный музей И. А. Бунина.

В экспозиции музея представлены старинные грамоты и более поздние документы, рассказывающие историю древнего дворянского рода Буниных, к которому принадлежали и известная поэтесса XVIII века Анна Петровна Бунина, и один из литературных учителей А. С. Пушкина Василий Андреевич Жуковский.



Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина



Кабинет писателя

Посетители музея увидят на стендах рукописи писателя, прижизненные издания его произведений. Особая гордость музея — воссозданный на основе подлинных мемориальных вещей И. А. Бунина парижский кабинет писателя.

Тщательно восстановленный интерьер парижского кабинета оживляют, придают ему ощущение присутствия писателя подлинные вещи Бунина — письменный стол, кресло, небольшой столик с пишущей машинкой, книги, находившиеся когда-то в бунинском кабинете.

В зале, завершающем знакомство с экспозицией музея, можно увидеть видеофильмы, посвящённые И. А. Бунину, в том числе кадры, запечатлевшие вручение писателю Нобелевской премии в 1933 году «За строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер».

Сайт музея: <http://gotourl.ru/12245>

Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ Город Смоленск

В 1995 году к пятидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне в Смоленске был открыт памятник. Скульптурная композиция запечатлела поэта А. Т. Твардовского и воспетого им солдата, неувядающего Василия Тёркина, на привале за дружеской беседой. Почему памятник Василию Тёркину установлен в Смоленске? Конечно же, потому, что этот литературный герой и всенародный любимец «уроженец» Смоленщины.

«Не иной какой, не энский,
Безымянный корешок,
А действительно смоленский,
Как дразнили нас, рожок.
Не кичусь родным я краем,
Но пройди весь белый свет —
Кто в рожки тебе сыграет
Так, как наш смоленский дед...» —



Памятник А. Т. Твардовскому и Василию Тёркину
в г. Смоленске. Скульптор А. Сергеев

не без гордости заявляет сослуживцам Тёркин. А главное — со Смоленском тесно связана судьба создателя «Василия Тёркина».

В смоленские газеты присылал свои первые стихи Саша Твардовский из родного Загорья. В Смоленск он переехал, твёрдо решив стать поэтом. С начала 1928 года его стихи регулярно появляются на страницах смоленской молодёжной газеты «Юный товарищ». Молодого литератора поддержал живший тогда в Смоленске поэт Михаил Васильевич Исаковский. Когда несколько стихотворений Твардовского было опубликовано в московских изданиях, окрылённый таким успехом, поэт поспешил уехать в Москву. Но вскоре он понял, что ему пока не хватает образования, знаний, общей культуры. Он возвращается в Смоленск и поступает на отделение языка и литературы педагогического института. Напряжённо учится, очень много читает, тщательно изучает все учебные пособия по истории и теории литературы, которые может найти в Смоленске. В то же время продолжает много писать, его стихи всё чаще появляются в центральной печати. В эти годы он создаёт свои первые поэмы, в том числе принёсшую ему всероссийскую известность «Страну Муравию».

Проучившись в Смоленске два года, Твардовский перевёлся в Московский институт философии, литературы и истории и окончательно переехал в Москву.

В Смоленске одна из улиц носит имя Твардовского. В 1990 году был открыт музей «А. Т. Твардовский в Смоленске» (Запольный переулок, 4).

Сайт музея: <http://gotourl.ru/12246>

Загорье (Починковский район Смоленской области)

Александр Трифонович Твардовский родился 21 июня 1910 года на хуторе Загорье на Смоленщине, а точнее, как пишет в автобиографии поэт, на «хуторе пустоши Столпово». Так назывался в бумагах клочок земли, который был куплен отцом поэта Трифоном Гордеевичем через Земельный банк с выплатой в рассрочку. Этот клочок земли теперь известен как «поэтическое Загорье» — малая родина поэта, «начало всех начал».

Об отце поэта нам, читателям, известно не так уж мало из стихотворений и поэм Твардовского — всем памятны строки о кузнице в Загорье, где трудился отец (поэма «За далью — даль»), а о трагическом повороте судьбы всей семьи в годы коллективизации мы узнали из поэмы «По праву памяти».

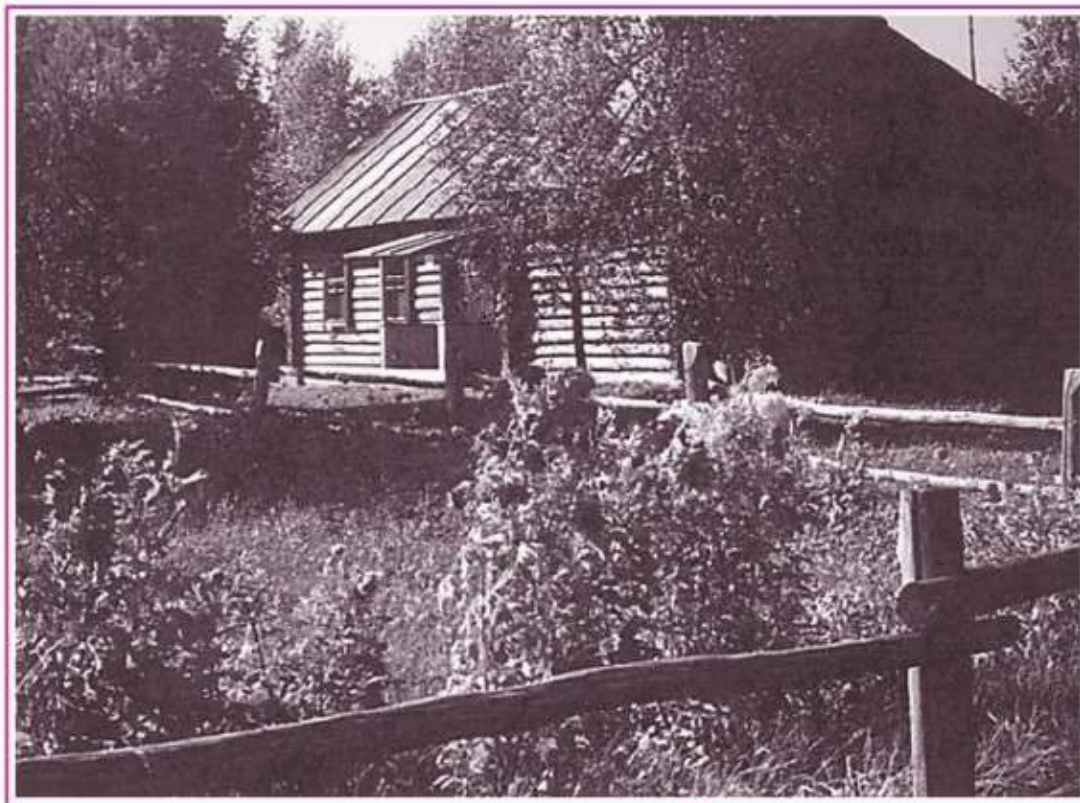
На хуторе Загорье Саша Твардовский написал свои первые стихи, впитал любовь к родной земле. Здесь исток его поэзии.

Осенью 1944 года, когда поэт в рядах воинов-освободителей прошёл по родному Загорью, он, потрясённый увиденным, записал:

«Я не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек — всё занесено дурной, высокой, как конопля, травой, что обычно растёт на пепелищах. Не нашёл вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе до пятнышка, с которым связано всё лучшее, что есть во мне. Более того — это сам я как личность».



А. Т. Твардовский на пепелище родной деревни Загорье на Смоленщине



Дом Твардовских в Загорье. *Фотография*

В июне 1988 года на древней смоленской земле произошло знаменательное событие. Был открыт музей-заповедник «Хутор Загорье». Все постройки на хуторе восстановлены заново по рисункам и макетам младшего брата поэта — Ивана Трифоновича, по личным воспоминаниям старшего брата — Константина Трифоновича. На литературной карте России появилось ещё одно место приобщения к поэзии, к духовной истории народа.

Сайт музея: <http://gotourl.ru/12247>

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Автобиография (гр. *autos* — сам, *bios* — жизнь, *graphō* — пишу) — литературно-прозаический жанр, описание автором собственной жизни. Литературная автобиография — попытка осмыслить жизнь как единое целое. См., например, рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро».

Аллегория (гр. *allēgoria* — иносказание) — иносказательное изображение предмета, явления с целью наиболее наглядно показать его существенные черты. Аллегория (иносказание) лежит в основе басни и притчи.

Аллитерация (лат. *allitteratio* — созвучие) — повторение в стихотворной речи одинаковых согласных звуков для усиления выразительности художественной речи (например: «В сто сорок солнц закат пылал...» — В. В. Маяковский).

Амфибрахий (гр. *amphi* — кругом, *brachys* — краткий) — трёхсложный размер стиха с ударением на втором слоге (— $\acute{}$ —).

Анализ произведения в литературоведении (гр. *analysis* — разложение, расчленение) — исследовательское прочтение художественного текста.

Анапест (гр. *anápaistos* — отражённый назад, обратный дактилю) — трёхсложный размер стиха с ударением на третьем слоге (— — $\acute{}$).

Анафора (с гр.: вынесение вверх; повторение), или единоначатие, — стилистический приём, заключающийся в повторении похожих звуков, слов, синтаксических или ритмических построений в начале смежных стихов или строф. Анафоры бывают звуковые, лексические, синтаксические, строфические, строфико-синтаксические, ритмические. Пример звуковой анафоры из поэмы Пушкина «Медный всадник»:

Грозой снесённые мосты,
Гроба с размытого кладбища.

Антитеза (гр. *antithesis* — противоположение) — противопоставление образов, картин, слов, понятий.

Архаизм (гр. *archaios* — древний) — устаревшее слово или словосочетание, грамматическая или синтаксическая форма.

Афоризм (гр. *aphorismos* — изречение) — обобщённая глубокая мысль, выраженная в лаконичной, краткой, художественно заострённой форме. Афоризм сродни пословице, но в отличие от неё принадлежит определённому лицу (писателю, учёному и т. д.).

Баллада (прованс. *ballar* — плясать) — стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом.

Басня — краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в котором есть аллегория (иносказание). Действующими лицами в басне чаще всего выступают животные, растения, вещи, в которых проявляются, угадываются человеческие качества и взаимоотношения (басни Эзопа, Лафонтена, А. Сумарокова, И. Дмитриева, И. Крылова, пародийные басни Козьмы Пруткова, С. Михалкова и др.).

Беллетристика (фр. *belles lettres* — изящная словесность) — в широком смысле слова — художественная литература, в более узком — художественная проза, в отличие от поэзии и драматургии.

Белый стих — нерифмованный стих, появился в XVI веке (например, так написан «Борис Годунов» А. С. Пушкина).

Бестселлер (англ. *best* — лучший и *sell* — продаваться) — книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующаяся читательским спросом.

Библиотека поэта — серия книг, посвящённая творчеству крупнейших поэтов, отдельным поэтическим жанрам («Русская баллада», «Русские былины» и др.). Основана серия М. Горьким в 1931 году.

Библия (гр. *biblia* — буквально «книги») — собрание древних текстов религиозного содержания.

Былина — эпический жанр русского фольклора, героико-патриотическая песня о богатырях и исторических событиях. (См. статью в разделе, посвящённом этой теме.)

Герой литературного произведения, литературный герой — один из главных персонажей литературного произведения, главное действующее лицо.

Гипербола (гр. *hyperbolé* — преувеличение) — чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета. Вводится в ткань произведения для большей выразительности, характерно для фольклора и жанра сатиры (Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, В. Маяковский).

Градация (лат. *gradatio* — постепенное возвышение) — последовательное нагнетание или ослабление сравнений, образов, эпитетов, метафор и других выразительных средств художественной речи. Пример градации из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина:

Не хочу быть чёрной крестьянкой,
Хочу быть столбовой дворянкой...

Гротеск (фр. *grotesque*, ит. *grottesco* — причудливый, от *grotta* — грот) — предельное преувеличение, основанное на фантастике, на причудливом сочетании фантастического и реального.

Да́ктиль (гр. dactylos — палец) — трёхсложный размер стиха с ударением на первом слоге (— — —).

Двусло́жные разме́ры — я м б (— — —), х о р е й (— — —).

Де́таль (фр. détail — подробность) — выразительная подробность в произведении. Если деталь сразу определяет характер человека, то такая деталь называется говорящей.

Диало́г (гр. dialogos — разговор, беседа) — разговор двух или нескольких лиц. Диалог — основная форма раскрытия человеческих характеров в драматургических произведениях (пьесах, киносценариях).

Дра́ма (гр. drama — деяние, действие) — один из трёх родов литературы, наряду с эпосом и лирикой; произведение, предназначенное для постановки на сцене.

Жанр (фр. genre — род, вид) — вид художественного произведения, например: басня, лирическое стихотворение, повесть.

Завя́зка — один из элементов сюжета, событие, знаменующее начало развития действия в эпических и драматических произведениях.

Звѹкопись — условный термин для обозначения особой инструментовки стиха: система аллитераций (повторов согласных звуков) или звукоподражание.

Иде́я (гр. idea — идея) — основная мысль художественного произведения.

Инве́рсия (лат. inversio — перестановка) — стилистическая фигура, которая подразумевает необычный порядок слов, что придаёт фразе особую выразительность.

Интервьѹ́ (англ. interview) — предназначенная для печати беседа (журналист и писатель, учёный и студент и пр.).

Интерпрета́ция (лат. interpretatio — объяснение) — истолкование литературного произведения, постижение его смысла, идеи.

Интона́ция (лат. intonare — громко произношу) — выразительное средство звучащей речи. Интонация передаёт отношение говорящего к предмету высказывания.

Иро́ния (гр. eirōnéia — притворство, насмешка) — один из видов комического (юмор, ирония, сатира, сарказм); стилистический приём сатиры: тонкая насмешка, прикрытая учтивостью.

Компози́ция (лат. compositio — составление, соединение) — расположение, т. е. построение, произведения.

Крыла́тые слова́ — широко употребительные меткие слова, образные выражения, известные изречения исторических лиц.

Кульмина́ция (лат. culmen (culminis) — вершина) — один из элементов сюжета; момент наивысшего напряжения в художественном произведении.

Культура речи — уровень речевого развития, степень владения нормами языка.

Легенда (лат. *legenda* — буквально «то, что следует прочитать») — произведение, созданное народной фантазией, в котором сочетается реальное и фантастическое.

Летопись — памятник исторической прозы Древней Руси, один из основных жанров древнерусской литературы.

Лиро-эпические жанры сочетают в себе черты лирики (выражение чувств, переживаний, мыслей автора) и эпоса (наличие повествовательного сюжета). К лиро-эпическим жанрам относятся некоторые поэмы, баллады, роман в стихах.

Литературовед — специалист, изучающий закономерности историко-литературного процесса, анализирующий творчество одного или нескольких писателей.

Литературоведение — наука о сущности и специфике художественной литературы, о закономерностях литературного процесса.

Метафора (гр. *metaphora* — перенос) — переносное значение слова, в основе которого лежит *неназванное* сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака.

Монолог (гр. *monos* — один и *logos* — речь, слово) — речь одного человека в художественном произведении.

Неологизм (гр. *neos* — новый и *logos* — слово) — слово или словосочетание, созданное для обозначения нового предмета или явления; индивидуальное новообразование слов.

Ода (гр. *ode* — песня) — торжественное стихотворение, прославляющее какое-либо историческое событие или героя.

Олицетворение — перенесение человеческих черт на неодушевлённые предметы или явления.

Описание — вид повествования, в котором изображается какая-либо картина (портрет героя, пейзаж, вид комнаты — интерьер и пр.).

Пейзаж (фр. *payage*, от *pay* — местность) — изображение картин природы в художественном произведении.

Повесть — один из видов эпического произведения. Повесть больше по объёму и по охвату жизненных явлений, чем рассказ, и меньше, чем роман.

Подтекст — подспудный, неявный смысл, не совпадающий с прямым смыслом текста.

Портрет (фр. *portrait* — изображение) — изображение внешности героя в произведении.

Послѡвица — краткое образное народное изречение, имеющее поучительный смысл.

Поѡма (гр. ποιѡта — творение) — один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих чувств.

Прѡтча — небольшой рассказ, иносказание, в котором заключено религиозное или моральное поучение.

Прѡза (лат. proza (oratio) — целеустремлённая речь) — свободная речь; букв. — «идущий прямо вперѡд» — литературное нестихотворное произведение.

Прототѡп (от гр. Prototypon — прообраз) — реальное, действительно существующее или существовавшее лицо, внешний и внутренний облик которого послужили для создания вымышленного литературного образа.

Псевдонѡм (гр. pseudos — вымысел, ложь и опута — имя) — подпись, которой автор заменяет своё настоящее имя. Некоторые псевдонимы быстро исчезали (В. Алов — Н. В. Гоголь), другие вытеснили настоящую фамилию (Максим Горький вместо А. М. Пешков) и даже передавались наследникам (Т. Гайдар — сын А. П. Гайдара); иногда псевдоним присоединяется к настоящей фамилии (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Психологѡзм в литературе — система способов и приѡмов описания, изображения и воссоздания внутренней, душевной жизни человека.

Публицистика (лат. publicus — общественный) — род литературы и журналистики. В публицистических произведениях рассматриваются актуальные политические и экономические проблемы.

Развѡзка — один из элементов сюжета, заключительный момент в развитии действия в художественном произведении.

Расскѡз — небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни человека.

«Расскѡз в рассказѡ» — композиционный приѡм, состоящий в том, что рассказывающий о чём-либо предлагает выслушать новую историю, служащую как бы подтверждением или развитием его начального повествования. Этот композиционный приѡм используется и в рассказѡ М. А. Шолохова «Судьба человека».

Расскѡзчик — лицо, ведущее рассказ; рассказчиком может быть автор произведения, герой или какой-то другой персонаж, а также вымышленное лицо. Например, Пушкин в «Повестях Белкина» препоручил повествование Ивану Петровичу Белкину.

Рецензия — один из жанров критики, отзыв на художественное произведение с целью его оценки и разбора. Отзыв содержит некоторые сведения об авторѡ произведения, формулировку темы и главной мысли книги, рассказ о её

героях с рассуждениями об их поступках, характерах, взаимоотношениях с другими лицами. В отзыве отмечаются и самые интересные страницы книги. Важно раскрыть и позицию автора книги, его отношение к героям, их поступкам.

Ритм (гр. *rhythmos* — такт, соразмерность) — повторение каких-либо однозначных явлений через равные промежутки времени (например, чередование ударных и безударных слогов в стихе).

Риторика (гр. *rhitorike*) — наука об ораторском искусстве.

Рифма (гр. *rhythmos* — соразмерность) — созвучие окончаний стихотворных строк.

Романтизм — направление в литературе, проникнутое стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека (например, «Старуха Изергиль» М. Горького).

Сарказм (гр. *sarkasmos* — букв.: «рву мясо») — высшая степень иронии, злая насмешка.

Сати́ра (лат. *satira*) — вид комического: беспощадное, уничтожающее осмеяние, критика действительности, человека, явления (сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Сравне́ние — изображение одного явления с помощью сопоставления его с другим, обладающим сходным признаком; второе явление художественно усиливает первое.

Средства художественной вырази́тельности — художественные средства (например, аллегория, метафора, гипербола, гротеск, сравнение, эпитет и др.), помогающие изобразить человека, событие или предмет ярко, конкретно, наглядно.

Стихотворе́ние — написанное стихами произведение, часто лирическое, выражающее душевные переживания.

Стихотворе́ние в про́зе — один из видов лирических произведений в прозаической форме. Обладает такими признаками лирического стихотворения, как небольшой объём, эмоциональность, бессюжетная композиция (например, стихотворения в прозе И. С. Тургенева).

Строфа́ (гр. *strophē* — поворот) — группа стихов (строк), объединённых общей мыслью и составляющих единство. Стихи в строфе связаны определённым расположением рифм.

Сюже́т (фр. *sujet* — предмет, содержание, событие) — ряд событий, описанных в художественном произведении и положенных в его основу.

Тема (гр. *thema*) — круг жизненных явлений, изображённых в произведении; круг событий, образующих жизненную основу произведения.

Трагедия (гр. *tragōdia* — буквально «козлиная песнь») — вид, жанр драмы, противоположный комедии, произведение, изображающее борьбу, личную или общественную катастрофу, обычно оканчивающуюся гибелью героя.

Трёхсложные стихотворные размеры — дактиль (— — —), амфибрахий (— — —), анапест (— — —).

Устное народное творчество, или фольклор — искусство устного слова, создаваемое народом и бытующее в широких массах. Наиболее распространённые виды фольклора — пословица, поговорка, сказка, песня, загадка, былина.

Фантастика (гр. phantastikē — способность воображать) — разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел простирается до создания вымышленного, нереального, чудесного мира.

Хорей (гр. choreios, от choros — хор) — двусложный размер стиха с ударением на первом слоге (— —).

Художественное произведение — произведение искусства, изображающее события и явления, людей, их чувства в яркой, образной форме.

Цитата — дословная выдержка из какого-либо текста или дословно приводимые чьи-то слова.

Эзопов язык (от имени древнегреческого баснописца Эзопа) — особый вид письма, иносказание (например, эзопов язык произведений Салтыкова-Щедрина).

Экспозиция (лат. expositio — изложение, объяснение) — обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся до начала действия.

Элегия (гр. elegia, от elegos — жалобная песня) — стихотворение средней длины, обычно печального содержания, проникнутое грустью.

Эпиграмма — короткое сатирическое стихотворение, зло высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.

Эпиграф (гр. epigraphē — надпись) — короткий текст, помещаемый автором перед текстом сочинения и выражающий тему, идею, настроение произведения.

Эпизод (гр. epeisódion — буквально «вставка») — небольшая часть литературного произведения, играющая в нём важную роль.

Эпитет (гр. epitheton — буквально «приложенное») — образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным.

Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк) — прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу.

Юмор (англ. humour — нрав, настроение) — изображение героев в смешном виде. Юмор — смех весёлый и доброжелательный.

Ямб (гр. iambos) — двусложный размер с ударением на втором слоге (— —).

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

(Продолжение)

Л. Н. Толстой	3
Севастополь в декабре месяце. (<i>Из цикла «Севастопольские рассказы»</i>)	5

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Произведения писателей русского зарубежья

Проза русского зарубежья

И. С. Шмелёв	21
Как я стал писателем. (<i>С сокращениями</i>)	23
М. А. Осоргин	32
Пенсне	33

Поэты русского зарубежья о родине

И. А. Бунин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»	38
Н. А. Оцуп. Мне трудно без России... (<i>Отрывок</i>)	39
Дон Аминадо. Бабье лето	40

Поэзия первой половины XX века. Человек и эпоха

А. А. Блок. Россия	42
М. И. Цветаева. «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!...» ..	44
Дон	46
М. А. Светлов. Гренада	47
О. Э. Мандельштам. Ленинград	50
А. А. Ахматова. «Постучись кулачком — я открою...»	52
Б. Л. Пастернак	54
«Во всём мне хочется дойти...»	60
«Красавица моя, вся стать...»	62
Перемена	63
Весна в лесу	—
«Быть знаменитым некрасиво»	64
В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака	66
М. А. Булгаков	67
Собачье сердце	69

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

А. Т. Твардовский	141
Василий Тёркин. (<i>Главы из поэмы</i>)	143
М. А. Шолохов	177
Судьба человека. (<i>В сокращении</i>)	179
<i>В творческой лаборатории М. А. Шолохова</i>	
О сказовой форме повествования в рассказе «Судьба человека»	198
А. И. Солженицын	202
Матрёнин двор	208
<i>В творческой лаборатории А. И. Солженицына</i>	240
Произведения отечественных прозаиков второй половины	
XX — начала XXI века	
Е. И. Носов	244
<i>Из автобиографии</i>	—
Кукла	246
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак	252
Неудачница	253
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины	
XX — начала XXI века на тему	
«Человек в ситуации нравственного выбора»	
В. Т. Шаламов	259
Апостол Павел	260
Дж. Д. Сэлинджер	266
О романе Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»	—
«Над пропастью во ржи». (<i>Отрывок из романа</i>).	
Перевод Р. Райт-Ковалёвой	267
Поэзия второй половины XX — начала XXI века	
Н. А. Заболоцкий	288
<i>В творческой лаборатории Н. А. Заболоцкого</i>	290
Н. А. Заболоцкий о себе	295
Современники о Н. А. Заболоцком	296
Я не ищу гармонии в природе	297
О красоте человеческих лиц	299
Где-то в поле возле Магадана	300
Можжевельниковый куст	301
Стихотворения, ставшие песнями	
В. С. Высоцкий. Он не вернулся из боя	303
Р. И. Рождественский. Песня о далёкой родине	305
Б. Ш. Окуджава. По Смоленской дороге	307
Б. А. Ахмадулина. Прощание	308

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В. Шекспир	309
Ромео и Джульетта. (Сцены). Перевод Б. Пастернака	312
Сонеты	325
76. «Увы, мой стих не блещет новизной...» Перевод С. Маршака...	—
Ж.-Б. Мольер	327
Мещанин во дворянстве. (С сокращениями). Перевод Н. Любимова	328

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Теоретические материалы	376
Историзм литературы	—
Композиция	379
Роман	—
Комедия	380
Трагедия	381
Песня	—
Романс	—
Элегия	382
Литературные места России	383
И. А. Бунин.	
Город Орёл	—
А. Т. Твардовский.	
Город Смоленск	385
Загорье	387
Краткий словарь литературоведческих терминов	389

Список заимствованных иллюстраций

- Верейский О.* «Василий Тёркин» («На привале», «Гармонь») // Твардовский А. Т. Василий Тёркин. — М.: Художественная литература, 1976. — С. 8, 56.
- Верейский О.* «Василий Тёркин» // Каменский А. А. Орест Георгиевич Верейский. — М.: Советский художник, 1960. — С. 38, 39.
- Верейский О.* «Судьба человека» // Шолохов М. А. Поднятая целина. Судьба человека. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 608.
- Иткин А.* «Собачье сердце» // Булгаков М. А. Собачье сердце. — М.: ПИГМА, 2015. — С. 14, 88, 98, 136—137.
- Кокорин А.* На четвёртом бастионе // Толстой Л. Н. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 3. — М.: Художественная литература, 1989. — С. 224.
- Кокорин А.* «Севастополь в декабре месяце». «Орудие на бастион!» 1953 г. // Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 20 т. Т. 2. Повести и рассказы. — М.: ГИХЛ, 1960. — С. 96.
- Кукрыниксы.* «Судьба человека» // Шолохов М. Судьба человека. — М.: Художественная литература, 1964. — С. 18, 61.
- Нижний Л.* «Мещанин во дворянстве» // Мольер Ж.-Б. Мещанин во дворянстве / Пер. с фр. Н. Любимова, стихи в пер. Арго — М.: Детская литература, 1964. — (Школьная библиотека). — С. 7, 59, 74.
- Фотография избы М. В. Захаровой. 1956 г. // Решетовская Н. А. Александр Солженицын и читающая Россия. — М.: Советская Россия, 1990. — Вкл. 14.
- Фотография А. И. Солженицына // Солженицын А. И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 1. Рассказы и Крохотки. — М.: Время, 2006. — Фронтиспис.
- Шмаринов Д. «Ромео и Джульетта». Ромео; Джульетта // Шекспир В. Ромео и Джульетта. — М.: Детгиз, 1963. — С. 61, 65.

При подготовке данного издания использованы материалы

- **фотобанков:** 1. *Титул, обложка, с. 177.* Фотография М. А. Шолохова / © РИА Новости. 2. *С. 21.* Фотография И. С. Пимелёва / © Легион-Медиа. 3. *С. 32.* Фотография М. А. Осоргина / © Легион-Медиа. 4. *С. 54.* Фотография Б. Л. Пастернака / © Retro / Фотобанк Лори. 5. *С. 150.* Верейский О. «Василий Тёркин» / © Абрам Штеренберг / РИА Новости. 6. *С. 206.* Фотография Александра Солженицына на церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме 10 декабря 1974 года / © Fotodom.ru. 7. *С. 244.* Фотография Е. И. Носова / © РИА Новости. 8. *С. 259.* Фотография В. Т. Шаламова / © Fotodom.ru. 9. *С. 266.* Фотография Дж. Д. Сэлинджера / © Keystone Press Agency / Picvario. 10. *С. 288.* Фотография Н. А. Заболоцкого / © Fotodom.ru. 11. *С. 309.* Неизвестный художник. В. Шекспир. Гравюра / © Shutterstock.com. 12. *С. 310.* Друскоут М. В. Шекспир. Гравюра / © East News. 13. *С. 327.* Ж.-Б. Мольер. Гравюра / © Georgios Kollidas / Shutterstock.com. 14. *С. 385.* Памятник А. Т. Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске / © Shutterstock.com. 15. *С. 387.* А. Т. Твардовский на пепелище родной деревни Загорье на Смоленщине / © Василий Аркашев / РИА Новости.
- **музеев и архивов:** 1. *Титул, обложка.* Крамской И. Портрет Л. Н. Толстого. 1873 г. / Государственная Третьяковская галерея, Москва. 2. *Титул, обложка.* Ряпцов Е. Фотография А. Т. Твардовского. 1950 г. / Смоленский государственный музей-заповедник / Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. 3. *С. 3.* Репин И. Портрет Л. Н. Толстого. 1887 г. / Государственная Третьяковская галерея, Москва. 4. *Титул, обложка, С. 141.* Паппельбаум М. Фотография А. Т. Твардовского / РГАКФД, Красногорск. 5. *207.* Фотография А. И. Солженицына. 1998 г. / Александровский историко-краеведческий музей / Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. 6. *С. 217.* Фотография Матрёны Васильевны Захаровой. 1956 г. / Ростовский областной музей краеведения / Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации.



Учебное издание

**Коровина Вера Яновна, Журавлев Виктор Петрович,
Коровин Валентин Иванович**

ЛИТЕРАТУРА

8 класс

Учебник

В двух частях

ЧАСТЬ 2

Центр литературы

Ответственный за выпуск *Е. Н. Бармина*

Редакторы *Е. И. Правоторова, Е. Н. Бармина*

Художественный редактор *Е. В. Дьячкова*

Техническое редактирование

и компьютерная вёрстка *О. А. Карповой, И. Ю. Соколовой*

Корректор *Н. А. Смирнова*

Подписано в печать 03.11.2022. Формат 70×90/16. Гарнитура Школьная.

Усл. печ. л. 29,17. Уч.-изд. л. 29,25. Тираж экз.

Заказ № .

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». Российская Федерация, 127473,
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, этаж 4, помещение 1.

Адрес электронной почты «Горячей линии» — vopros@prosv.ru.